



НОВАЯ ПОЛЬША 1/2010

Содержание

1. ОПЫТ ВОЙНЫ
2. РОССИЙСКИЙ И ПОЛЬСКИЙ ДОЛГ ПАМЯТИ И ПРАВО ЗАБВЕНИЯ
3. ХРОНИКА (НЕКОТОРЫХ) ТЕКУЩИХ СОБЫТИЙ
4. МНЕ НРАВИТСЯ НЫНЕШНЯЯ МОЛОДЕЖЬ...
5. СТИХОТВОРЕНИЯ
6. СМЕШЕНИЕ ЯЗЫКОВ
7. ПОЛЬСКАЯ СИБИРЬ — МИФЫ И РЕАЛЬНОСТЬ
8. КУЛЬТУРНАЯ ХРОНИКА
9. ОТЛЁТ
10. ЧТОБЫ НЕ БЫЛО БОЛЬНО
11. ВЫПИСКИ ИЗ КУЛЬТУРНОЙ ПЕРИОДИКИ
12. ЛЕГКИЙ ЗУД СОВЕСТИ

ОПЫТ ВОЙНЫ

О том, как люди внутренне переживают эту войну, которая ведется за концепцию мира и человека и тем напоминает религиозные войны, по сути дела известно крайне мало. Почти единственный источник знаний — размышления над собственным опытом, но и тут нелегко отдать себе в нем отчет: мешает отсутствие приспособленного к новым испытаниям языка, а мы знаем, как привычный язык деформирует даже самые искренние ощущения. Пример тому — многочисленные и чаще всего неудачные попытки придать свежим военным переживаниям литературную форму. О европейском опыте войны станет известно только тогда, когда он станет фактом общественным, то есть приземлится на почву новых философских и художественных течений, когда он будет закреплен в борьбе с творческим материалом — в слове, камне, краске, звуке. Конечно, я веду речь не о закреплении военной тематики — она дело второразрядное, — но об общей атмосфере, о смене внутренних пропорций, на что великий коллективный опыт не может не оказать влияния.

Между тем мы осуждены читать в себе самих. Поскольку личный тон в этом случае вполне оправдан, скажу, что я вижу некоторую внутреннюю логику и внутреннее развития моего отношения к военной действительности — и, может быть, это не только и исключительно мой удел. Я стараюсь выделить, обвести контуром это сплетение болезненных вопросов и, когда это хоть частично удастся, прихожу к выводу: существует нечто такое, что можно бы назвать специфическими военными переживаниями, и это какой-то механизм, о котором можно рассуждать, подобно тому как рассуждают о любовных переживаниях или о механизме жестокости.

Но дать названия частям этого сложного механизма — это, пожалуй, в настоящий момент недоступно. Поэтому нужно прибегнуть к помощи писателей, которые стремились передать если не такие же, то по крайней мере схожие чувства. Мне приходит на ум «Война и мир» Толстого. В поисках аналогии (хотя полной аналогии тут быть не может) мы нередко останавливаемся на наполеоновских войнах. Хотя и довольно невинные по сравнению с наступлением доктрины национал-социализма, для людей того времени они, должно быть, оказались столь же сильным потрясением, особенно в их

наиболее яростных и кровавых формах — в Испании и России. Два самых серьезных документа войны в европейской культуре: рисунки Гойи и «Война и мир» — даны нам испанцем и русским; если это случайность, то во всяком случае выразительная. «Война и мир» написана через несколько десятков лет после событий, составляющих ее тему, и уже представляет собой полемику с наполеоновской легендой. Однако великая писательская интуиция Толстого оказалась способной преодолеть временную дистанцию (а может, как раз эта дистанция доставила необходимые средства) и дать пронизательный анализ явления, о котором идет речь. Хорошие книги живут достаточно богатой и сложной жизнью, чтобы каждое поколение могло найти в них свою собственную злободневность. Так и роман русского писателя содержит фрагменты, которые для участников дьявольского зрелища приобретают совершенно новую выразительность. Поэтому есть смысл призвать эти фрагменты как свидетельство и, используя их как предлог, попробовать хоть чуть-чуть продвинуть наше самопознание.

В войне 1812 года уже существуют, хотя еще очень легкие, акценты тотальной войны. Горящая Москва и массы повозок на охваченных паникой дорогах близки сегодняшнему пониманию. Вид на войну глазами ее гражданского участника — вот что особенно сближает с нами некоторые части толстовской эпопеи, а история Пьера Безухова в критические для России дни — исследование опыта войны, достойное пера самого подкованного философа.

Пьер был в «состоянии, близком к безумию». Его охватило чувство неясного, но сильно испытываемого долга, необходимость любой ценой принять деятельное участие. Руководимый этим безумием, он совершенно утрачивает способность реальной оценки событий, пребывает в мире, больше похожем на галлюцинации, чем на явь. Функции рассудка совершенно заторможены. Вопреки инстинкту самосохранения, который скорее повелевал бы ему бежать вместе со всей богатой Москвой, к которой Пьер как аристократ принадлежит, — он плывет против течения и остается. Туманный, непонятный ему самому императив кристаллизуется в чудаческое решение: заколоть кинжалом Наполеона как виновника всех несчастий отечества. В подлинность этого решения он сам не вполне верит. Всё происходит, как сказали бы мы сегодня, в подсознании. Существенные мотивы остаются ему неизвестными — но где-то глубоко таящаяся солидарность с судьбами всего народа и жажда пожертвовать собой (не без умиления своей

предполагаемой смертью) должны найти какую-то точку опоры снаружи — в сознательной части его «я». И он создает такую точку опоры, как пчела, строящая большую ячейку сот для пчелиной матки под натиском таинственного инстинкта.

Намерение убить Наполеона фантастично и нереально, но оно оправдывает пребывание Пьера в Москве, по крайней мере поначалу, потому что потом где-то незаметно развеивается: мавр сделал свое дело, мавр может уходить. Вот первый этап военных переживаний, эмоциональный фон: разрушение равновесия между сознательной и бессознательной частями человеческого существа и подчинение, большее чем когда-либо, инстинктам, назвать которые испытывающий их человек не способен, а если называет, то довольно грубо их искажает. Это инстинкты, как видно на примере, совсем не обязательно низкие и чисто биологические — они могут обладать прекрасным моральным блеском, но они превосходят способность восприятия индивидуума, принадлежат к сфере великих массовых восторгов, часто выражающихся скудными словами или совершенно бесполезными, на взгляд здравого разума, делами. Всякий, кто припомнит осень 1939 года и метание человеческих дробинки, из которых одни рвались на восток, другие — на запад, когда для одних оказаться в том месте, откуда как раз трогались другие, было целью, достигаемой путем величайшего самопожертвования, — согласится, что ими, должно быть, владели какие-то могущественные силы, возникшие из скрещения личных навыков и склонностей с так или иначе ощущаемым чувством солидарности (быть вместе: с семьей, с родным городом, с армией, с партией, со своей средой — решения множились, и в зависимости от того, что побеждало, индивидуумы выбирали то или иное направление). Несомненно, у этих дробинки были какие-то свои доводы, и они словесно сообщали эти доводы другим дробинкам. Но доводы эти были по преимуществу мнимыми, и, обосновывая свое поведение, говоря: так и так поступить лучше, потому что... — люди помещали вслед за этим «потому что» причину крохотную в сравнении с огромной стихией, несшейся через них.

Таким образом, первый слой основан, быть может, на большей, нежели в мирное время, зависимостью от скрытого тока, проходящего сквозь тело общества, — благодаря чему даже самый темный человек становится деятельным участником процессов, намного превосходящих его восприятие; интеллект тут не слишком пригодится — «состояние, близкое к безумию» оказывается состоянием интеллектуального разоружения, оно рождается из чувства интеллектуальной незащитности перед

внутренним повелением (идти, действовать, выполнять приказы, быть вместе со всеми и т.п.). За этим приходят новые элементы: вид человеческой жестокости и личная нищета — нищета в библейском значении этого слова, то есть смерть близких, голод, унижение.

Пьер Безухов, схваченный французскими солдатами, отданный под суд и приведенный на место казни, смотрит, как расстреливают «для примера» его сотоварищей, наудачу выхваченных из московской толпы. Все детали казни рисуются перед ним с огромной ясностью: обморочные взгляды осужденных, которые до конца не верят, что это произойдет; нервозность и беспокойство расстреливающих солдат; поспешное засыпание еще шевелящихся и дергающихся тел. «Все, очевидно, несомненно знали, что они были преступники, которым надо было скорее скрыть следы своего преступления». Под влиянием этого зрелища у Пьера происходит — не в сознании его, а в тех глубинных, расшевеленных войной залежах — внезапный перелом, внезапный выход за тот круг, в котором мы пребываем, когда живем в традиционно накопленных веками убеждениях. «С той минуты, как Пьер увидел это страшное убийство, совершенное людьми, не хотевшими этого делать, в душе его как будто вдруг выдернута была та пружина, на которой всё держалось и представлялось живым, и всё завалилось в кучу бессмысленного сора. В нем, хотя он и не отдавал себе отчета, уничтожилась вера и в благоустройство мира, и в человеческую, и в свою душу, и в Бога». Это второй слой опыта войны — его можно назвать утратой веры в цивилизацию. Живя среди ценностей, накопленных трудом поколений, в который складывались усилия святых, мыслителей, художников, человек пребывает в определенных рамках, его мысли и чувства развиваются в некоторый обряд. От слов молитвы, которым учит его мать, до школьного чтения и учения, а затем приобретаю опыт жизни в обществе, он, сам того не ведая, черпает из сокровищницы гуманистических иерархий, усваивает способы оценки, а собственное бытие и бытие человечества принимает как борьбу за всё более совершенные цели. Он чувствует, что человек — не только животное, но что-то большее. Его нравственное чувство находит опору в обычаях, праве, заповедях религии, в повседневном языке лозунгов и призывов к согражданам. Когда эта хрупкая поверхность раздирается и обнаруживается дно человеческой природы — наступает критический момент. Всё рушится, всё кажется искусственным и ничтожным в сопоставлении с элементарными фактами: жестокость людей, по своим результатам такая же, как жестокость природы; легкость, с которой в одну секунду чувствующее и мыслящее

существо превращается в мертвый предмет; обращение с теми, каждый из которых (как он верил!) есть отдельная личность, как с игрушками, подлежащими быть уничтоженными, переброшенными с места на место, искалеченными. В такую минуту все возможные аспекты рассмотрения человека исчезают — остается только один, биологический. Остальное выглядит несущественной надстройкой.

Этот переломный пункт должен быть гораздо выразительней в великую войну XX века — как ни говори, а наполеоновские войны были столкновением сил в пределах цивилизации, ни одна из сторон не выступала с программой сорвать человека с пьедестала и не подвергала сомнению его установившееся веками достоинство. Там, где личность, переживающая этот переломный пункт, вынуждена перенести не только сам вид озверения, но и влияние доктрины, оправдывающей и восхваляющей голое зверство, — возможность сломиться намного больше. На душу, угнетенную такой картиной, какую увидел Пьер Безухов, грузом ложатся слова пропаганды, в основе которых лежит восторг перед безжалостным насилием и — вопреки накопленному достоянию западной культуры — восторг перед «естественным» человеком, не сформированным ни Евангелием, ни таинствами, ни обычаями благожелательного сосуществования согласно *ius gentis*. Эти слова могут воздействовать сильно и оставить прочные следы в неосознаваемой, но важной для поведения сфере, где рождаются рефлекс мысли и действия.

Каковы могут быть результаты этой внезапной утраты веры? Не выразятся ли они в изменении коллективного духа, не запятнают ли поведение общества? Пьер Безухов впадает в отупение, в полное прозябание — и это одно из возможных последствий: своего рода сон и равнодушие к окружающим событиям, внутренний паралич, — собственно говоря, до этого состояния и хотят довести гонители, этого им вполне достаточно. Другим возможным состоянием — у личностей более подвижных и ловких — будет остановка на этом уровне внутреннего одеревенения при развитии вовне совершенно циничной деятельности. В гибели оценочности они черпают обоснование самых гнусных поступков: раз ничего прочного не существует, раз жизнь есть не что иное, как бессмысленный клубок пожирающих друг друга червей, — значит, всё позволено, спасем самих себя. Так они идут по пути потаенных или открытых преступников, которых любая масса производит во множестве, но в исключительные времена их рождается больше, чем когда-либо, ибо внутренние тормоза теряют свою действенность.

Однако вышеназванные виды последствий не выглядят достаточно заурядными, чтобы следовало опасаться, что они разольются громадной волной, поглощающей мирные формы бытования общества. Опаснее результаты, более согласные с требованиями человеческой природы и поэтому случающиеся гораздо чаще. Врожденная жажда нравственной гармонии, стремление установить хоть какую-то иерархию — любую, лишь бы была, — могут толкнуть к обустройству в руинах этического мира, в руинах веры, а это обустройство называется деформацией ценностей. Усомнившись в наследии, оставленном проповедниками и пророками, призывавшими к борьбе за царство Божие на земле, люди вынуждены высвободить свой энтузиазм, свою любовь к благородным и жертвенным поступкам и лихорадочно ищут вокруг себя чего-то, что годилось бы для обожествления и украшения, — подобные в этом архитекторам, которые брали образцами руины, считая их самым прекрасным продуктом строительства и не зная, что где-то существуют подлинно прекрасные и нетронутые памятники искусства. Эту потребность отлично понял национал-социализм: приходя в эпоху, когда военный опыт выжигает души миллионов, и используя сильное течение сомнений в цивилизации, охватившее Германию, он поставил на место сверженных богов новый кумир — свое племя, придав ему черты божественности и снабдив его всеми достоинствами истины, красоты и добра. Нет истины, нет красоты, нет добра — безусловно, зато есть германская истина, германская красота и германское добро. Так был заполнен вакуум, и в рамках нового канона нашлось место героизму, самоотречению, товариществу и т.п.

Так как же поведет себя представитель завоеванной Европы, если ему выпадет это духовное поражение? Утратив веру в посланничество (с которой он прожил, правда не без лукавства, XIX век), видя горизонт, повсюду замкнутый ландшафтом руин, он может не найти в себе сил, чтобы выйти из этого заколдованного круга, и согласится устроить свое хозяйство по мерке пожарищ и развалин. Тогда, питая ненависть к врагу и отыскивая, что же противопоставить врагу, он пойдет по его следам и противопоставит ему обратный, но остающийся в тех же масштабах идеал: враждебному племени он противопоставит свое собственное племя и будет его обожествлять, признав его успешность и силу высочайшими критериями деятельности. Человек, человечество — эти понятия вызовут в нем только рефлекс неприязни и раз навсегда останутся связаны с неприятными воспоминаниями — как бессилие какой-нибудь Лиги Наций или фарисейство демократии. Такой подход, превращающий собственное

отечество в алтарь, на котором сжигают отдельную личность, позволит ему высвободить весь запас благородства и героизма, тем более что пока продолжается гнет, этот алтарь — еще и алтарь страдающей человечности. Но победа неизбежно принесет раздвоение и поставит вопрос приоритета целей. Если бы такая атмосфера стала повсеместной, континенту вскоре грозила бы новая опасность, вытекающая из экзальтации своим родимым, к чему склонны много перестрадавшие народы.

Вышеприведенные рассуждения я извлек из опыта войны, но было бы ошибочно утверждать, что только он — мотор этих перемен, имеющих куда более сложные причины. Тем не менее опыт войны содержит в себе как бы в сжатом виде историю последних десятилетий, обогащенную накопившимся материалом, сильнее чего бы то ни было другого преобразует человека — и затрагивает даже наименее чувствительных. Пойдем дальше. Исчерпывает ли утрата веры всю область феномена? Нет. Толстой велит своему герою утратить веру и затем снова ее отстроить. Пьер Безухов сходит в самую юдоль нищеты в лагере (депо) пленных — и именно там, среди полной примитивности, унижения и смерти, одного за другим уносящей его собратьев по плену, переживает великое преобразование, выходит оттуда, смирившись с миром и внутренне свободный. Это происходит через прикосновение к судьбе человека во всей ее простоте, бренности и боли. Можно сказать, что его спасает соседство простого мужика Платона Каратаева: само его ровное дыхание по ночам, его радостное смирение, его полное согласие на всё, что принесет грядущий день, — для Пьера новый и нелегкий опыт; может быть, это попросту называется любовью к ближнему. Идя «босыми, стертymi, заструпелыми ногами» по замерзшим русским дорогам, Пьер открывает, что человек не только зол, но и воистину добр, что земля и жизнь хороши, а зло не должно заслонять нам великую и мудрую гармонию бытия. Даже слабость и ничтожество человека не нарушают этой гармонии, входят как необходимый пункт в какой-то окончательный расчет. Толстой не колеблясь описывает поведение Пьера во время расстрела Каратаева, который слишком слаб, чтобы поспевать за конвоем. «Каратаев смотрел на Пьера своими добрыми, круглыми глазами, подернутыми теперь слезою, и, видимо, подзывал его к себе, хотел сказать что-то. Но Пьеру слишком страшно было за себя. Он сделал так, как будто не видал его взгляда, и поспешно отошел. (...) Сзади, с того места, где сидел Каратаев, послышался выстрел. Пьер слышал явственно этот выстрел, но в то же мгновение, как он услышал его, Пьер вспомнил, что он не кончил еще начатое перед

проездом маршала вычисление о том, сколько переходов оставалось до Смоленска. И он стал считать».

Единственное ли это решение — то, которое дает Толстой? Можно ли, усомнившись в человеке, вновь обрести веру, только отрекшись от всего, чем дарят сытость, социальные различия и пользование материальными выгодами? Можно ли принять цивилизацию только тогда, когда подвергнешь ее огненному испытанию суровости и простоты, принуждая людей проложить между ними те связи, которые возникают «в страданиях, в безвинности страданий»? Такое решение — очень русское, и в России оно повторяется в разных видах много лет. Парадоксально, что защищающаяся от такого решения Европа уже сошла в чистилище примитивности и убожества. Но ее традиции не опираются на евангельское христианство, ее не исходили «старцы», покинувшие семью и имущество, чтобы спастись в лесах над Обью или Печорой. Ее монастыри были деятельными, полными движения, занимались хозяйственными, политическими и учебными делами. Может быть, поэтому Европа так неохотно отступает, предпочитает рассматривать свое унижение как минутное поущение, не представляя себе — по крайней мере — своего будущего в сдержанности и суровости. Многим ее гражданам наверное дано испытать то, что испытал Пьер Безухов: пожатие руки, слово товарища по тюремной камере преодолевает чуждость и враждебность, снова возносит человека высоко, и «прежде разрушенный мир теперь с новой красотой, на каких-то новых и незыблемых основах, воздвигался в его душе».

Говорящая тут, в этот период возвращения к здоровью, традиция с удвоенной силой навязывает свои формулировки, навязывает свой язык. Демонические элементы человеческой природы широко учитывались в западном христианстве. С того момента, как отдельная личность вырывалась из-под опеки Церкви и вверялась своим силам, от нее всего можно было ожидать, и величайшее зверство было в глазах католика понятным результатом врожденной порчи. Поэтому человек, продолжающий традиции западного христианства, лучше подготовлен к выходу из неверия, в которое его загоняет подлость. Кризис у него не такой острый, антитоксины действуют быстрее и успешней. Несмотря на дно, которое иногда приоткрывается, он упрямится в сохранении надежды и постоянно ожидает братства людей — с помощью подавления этого дна и обуздания биологических инстинктов.

Результаты, вытекающие из размышлений над опытом войны, скорее тревожны. Твердо веря в уничтожение доктрины расового сверхчеловека, можно спросить, удастся ли зарыть и забыть такой мощный взрывчатый груз, как это пытались сделать после первой мировой войны, пребывая в иллюзиях prosperity. Всё зависит от того, как совесть человека справится с сомнением. Если сомнение в нем поселится, если он сочтет борьбу за «жизненное пространство» естественным состоянием, то на сцене появятся реалистические политики, которые будут искать единственную основу международных отношений в равновесии сил и шахматной игре государств, что, как мы знаем, приводит уже не к «малым войнам» между двумя государствами, а неизбежно заканчивается фейерверком для всего земного шара. Если он преодолеет сомнение и снова вернется на старый путь мечтаний о государстве объединенного человечества — еще неизвестно, какую выберет форму. Или же, сочтя, что цивилизация в ее настоящем виде — в принципе зло, пожелает ее уничтожить, перепахать и строить новую, воспитывая массы в братстве убожества и потере личности? Или же, сознательно либо бессознательно обращаясь к традициям западного христианства, он захочет цивилизацию обновить, обогатить и улучшить, меняя устаревшие институты и приспособив их к новым требованиям? Неизвестно.

Да, помимо этого есть еще извечные столкновения интересов и эгоизм наций. Значение их, однако, меняется в зависимости от духа эпохи и от названий, которыми каждое поколение учится их определять. Они как некоторые болезни: достаточно больному знать, чем он страдает, и мучения окажутся куда ощутимей. Эгоизм трудно выполоть, но многое зависит от того, какие средства будут считаться дозволенными. Даже такая разница, как между применением протекционных пошлин и вырезанием дотла нации, мешающей в шествии к могуществу, — уже много.

Я сказал, что мало знаю о своем и чужом опыте войны и что остановился только над тем, как описал его Толстой. Я старался по нескольким чертам прочитать его внутреннюю структуру и извлечь аллюзии, которые как будто заключил в своих простых предложениях русский писатель. Может быть, переживания людей во время войны XX века намного разнороднее и глубже; может, они развиваются по другим законам. И, может быть, применять к ним Толстого так же нецелесообразно, как, например, применять описания из пацифистских романов о войне 1914–1918 гг. Пока что, однако, у нас нет большого выбора.

1942

Из книги "Legendy nowoczesności", Wydawnictwo Literackie,
Kraków 1996

Анджей Валицкий

РОССИЙСКИЙ И ПОЛЬСКИЙ ДОЛГ ПАМЯТИ И ПРАВО ЗАБВЕНИЯ

22–24 октября 2009 г. в Москве состоялась международная конференция «Россия и Польша: долг памяти и право забвения».

Конференция огромная, организованная Российским институтом культурологии, постоянным представительством Польской Академии наук при Российской АН и рядом других польских и российских научных учреждений при поддержке различных фондов, культурных центров и посольств в Москве. На ней было прочитано целых 116 докладов, что придало конференции фактически ранг конгресса. Трудно представить себе сходное мероприятие в какой-нибудь западной стране: нигде, кроме России, конференция, сосредоточенная на польской проблематике, не смогла бы собрать столько участников. Причина в том, что ни для какой страны, даже для Германии, взаимоотношения с Польшей никогда не были так важны, как для России.

Работа конференции открылась пленарным заседанием, на котором собравшиеся выслушали доклады Алона Конфино из США («Прошлое: добродетель и тирания»), Лорины Репиной («История и память: польза дистанцирования»), Анджея Хвальбы из Ягеллонского университета («Польско-российские места общей памяти»), Альвидаса Никжентайтиса из Литвы («Модели культурной памяти: Польша, Литва и Россия»), Алексея Васильева, заместителя директора Института культурологии («Memory studies и политика памяти в России и Польше»), а также Анджея де Лазари из Лодзи («Итоги проекта „Взаимные предубеждения поляков и русских“»). Дальнейшая работа конференции была разделена и проходила в четырех секциях: «Historia vita memoriae: память и историография в российско-польском контексте»; «Память и образовательные практики в России и Польше»; «Мемориальные культуры России и Польши: общее и особенное»; «Память в социальном измерении: российская и польская перспективы». Завершились заседания дискуссионной панелью на тему «Память меньшинств и регионов: потенциал конфликта или ресурс

развития. Российский и польский опыт», а также «круглым столом» «Memory studies: на пути к „мемориальной парадигме” социально-гуманитарного знания».

Частью конференции стали и два «особых события». В первый день ее работы А.Васильев произнес 15-минутную речь памяти недавно скончавшейся Барбары Скарги, совмещенную с демонстрацией кинофильма о ее жизни. Он назвал покойную «выдающимся современным философом, моральным авторитетом Европы и Человеком мира»; а ее жизнь, ее «трагическую, героическую судьбу» признал символом главных тем конференции. И подчеркнул, что Барбара Скарга противостояла патологической концентрации на давних обидах как подхода, изолирующего народ и закрывающего ему дорогу в будущее, а также отметил, что самой большой современной опасностью она считала яд ненависти, о чем ярко и выразительно написала в статье «Против ненависти», перепечатанной после ее смерти «Газетой выборчей».

Вторым «особым событием», которое имело место в последний день заседаний, была встреча со мною. По инициативе организаторов конференции я изложил на ней проблематику своих исследований по истории русской философской и общественной мысли и ответил на многочисленные вопросы. А.Васильев открыл это мероприятие весьма возвышенными словами, представив меня публике в качестве одного из главных представителей «варшавской школы истории идей», и, пользуясь случаем, почтил память Лешека Колаковского.

По причине разделения конференции на секции я сумел познакомиться только с частью прочитанных докладов. В этом кратком отчете, естественно, не хватает места для характеристики их содержания, а посему я ограничусь лишь перечислением нескольких главных сюжетов. К примеру: необходимость помнить о роли Польши в XVII в. как посредницы между Россией и Европой (тогда в России западных мыслителей переводили с польского, историю и географию Европы изучали по польским хроникам и атласам, а главным поэтом московского двора был получивший образование в Речи Посполитой и писавший также по-польски Симеон Полоцкий); роль Польши в формировании «национальных идентичностей» Украины и Белоруссии; Украина как своеобразный «театр памяти», где поляки и русские разыгрывали свои «исторические спектакли»; различия в мемориальных культурах римско-католической и православной Церквей; необходимость сохранения памяти о вкладе польских ссыльных в позитивный труд на местах их

ссылки, в создание региональных культур империи и развитие общероссийской науки; теоретическая проблематика устной и письменной коллективной памяти, отношения между памятью и историей, роль различных типов памяти в становлении «национальных идентичностей», а также деформирующая роль общественной памяти и необходимость ее корректировки исторической наукой. Ученые из Польши много говорили об этических проблемах коллективной памяти, в частности о таких как выбор между постоянными мысленными возвращениями к собственным обидам и забвением их или как припоминание проявлений чужой вины при одновременном забвении собственной и т. п. Говорилось также о диалоге между «Культурой» Гедройца и «Континентом» Максимова, о России в публицистике Адама Михника и об «антикоммунистическом русофильстве» Яцека Качмарского.

Таким образом, диапазон затронутой проблематики был, как это видно из предыдущего перечисления, очень богатым и широким. Поэтому тем более заставляет задуматься то обстоятельство, что два вопроса, вызывающие в Польше особые эмоции, оказались обойденными.

Первый из них — это вопрос о Катыни, которому, как вытекает из программы конференции с полным перечнем всех выступлений, не было посвящено отдельного доклада. Я понимаю это, учитывая как соображения чрезмерной политизированности вопроса, так и опасность втянуться в связи с ним в такие споры, которые могли бы увести дискуссию в направлении политической конфронтационности. Однако я сожалею, что организаторам не пришло в голову поручить эту тему белорусским или украинским ученым, зарекомендовавшим себя большой независимостью суждений и неожиданной, иногда даже поражающей нас оригинальностью взглядов на трудные российско-польские вопросы.

Вторым упущением, причем, с моей точки зрения, более важным и с виду странным, было полное игнорирование проблематики внутринациональных «расчетов» — иными словами, тех вопросов, которыми сегодня в Польше занимается Институт национальной памяти (ИНП). Эта проблематика является классической, и у нее весьма долгая история.

Как известно, древние греки провозглашали принцип «амнезии», иными словами, забвения во имя мира о беззакониях, несправедливостях и жестокостях внутригреческих войн. Эрнест Ренан в своем классическом эссе «Что такое нация?» (1882) признавал фундаментальную роль

памяти в поддержании самосознания всякой нации, но одновременно подчеркивал, что никакой народ, а уж особенно французский, не мог бы существовать без забвения. Запрет вспоминать прошлое, восстанавливать его в памяти, а тем самым ссорить граждан и вызывать раздоры между ними зачастую действовал на государственном уровне в качестве обязательного. Так, например, французская Конституционная хартия 1814 г. запрещала любые выяснения, кто на чьей стороне был в период революции, а Людовик XVIII, возвращаясь из изгнания, призывал забыть о всяком зле недавнего прошлого, включая казнь короля. Точно такой же принцип обязывал и в Испании после Франко, где не разрешалось упрекать кого бы то ни было в деятельном участии в той или иной политической группировке в период кровавой гражданской войны.

Резкой антитезой греческой «амнезии» был еврейский принцип о необходимости помнить до скончания времен обо всех изведенных обидах и зле. На этот принцип ссылались в 1998 г. на страницах католического журнала «Знак» (1998, №6), защищая взгляд, что христианство представляет собой синтез иудаизма с эллинизмом, а следовательно, оно не должно излишне склоняться в сторону эллинского забвения и прощения. Институт национальной памяти пошел на шаг дальше: он признал «амнезию», иными словами эллинскую часть христианского наследия, аморальным принципом и всецело сосредоточился на восстановлении в памяти всяческого зла и грязи периода ПНР, сочетая эту деятельность с требованием всеобщей и внесудебной декоммунизации и люстрации. Мы, к счастью, избежали этого, но та угроза, какую составляет для народа институционализация мстительной злопамятности, продолжает по-прежнему существовать, довольно ловко защищаясь от радикальной критики.

Название обсуждаемой здесь московской конференции с самого начала ассоциировалось у меня с проблематикой ИНП. Впрочем, не только у меня. Однако эти проблемы оказались целиком и полностью отсутствующими в ее повестке дня. Как это объяснить, за счет чего так получилось?

Полагаю, это вызвано сразу несколькими причинами. Российские участники конференции, наверно, не хотели вмешиваться во внутренние дела Польши. Кроме того в огромном большинстве случаев они понятия не имели о существовании и масштабах данной проблемы, а когда узнавали об этом в частном разговоре, то реагировали изумлением, сочетавшимся с недоверием. По понятным соображениям в России требования о декоммунизации и люстрации никогда не

могли восприниматься всерьез; во времена Горбачева малочисленные диссидентские группы провозглашали, правда, идею «российского Нюрнберга», но не могли рассчитывать в этом деле на сколько-нибудь значимую общественную поддержку. Поляки, в свою очередь, отдавали себе, пожалуй, отчет в том, что ИНП не приносит Польше славы и что информировать российских ученых о действиях и целях этого института стало бы компрометированием собственного государства, чего хотелось избежать. И, наконец, из многочисленных закулисных бесед я пришел к выводу, что стремление избегать любых тем, дискредитирующих Польшу, вероятно, соответствовало намерениям организаторов конференции, прочно связанных с либеральными кругами, которые сосредоточены вокруг фонда «Либеральная миссия» (основанного в 2000 г.). Ведь цель конференции состояла, среди прочего, в том, чтобы поднять престиж Польши как страны, сумевшей защититься от авторитарных тенденций, представителями которых выступали братья Качинские, и подающей тем самым хороший пример России. Информировать о Польше как о стране с антикоммунистической «исторической политикой», которая всё время ворошит в памяти прошлое и неспособна даже собраться с духом и решиться воздать хотя бы минимум справедливости генералу Ярузельскому, резко противоречило бы этой цели, достойной всяческой поддержки.

Автор — историк идей, философ, публицист, выдающийся знаток истории польской и русской общественно-политической мысли, заслуженный профессор ПАН и американского университета «Нотр-Дам».

ХРОНИКА (НЕКОТОРЫХ) ТЕКУЩИХ СОБЫТИЙ

• „Через двадцать лет после краха коммунизма национальный доход стран бывшего восточного блока реально увеличился лишь на 30%. Таковы данные, опубликованные в последнем отчете Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР). Есть, впрочем, одно исключение: Польша. По сравнению с 1989 г. наша экономика выросла на 80%. Это означает, что сегодня средний поляк может позволить себе в два раза больше, чем в 1989 году. Эксперты ЕБРР пришли к заключению, что стране удалось пережить кризис без особого ущерба. По их мнению, банковская система здорова, внутренний рынок хорошо развивается, а внешний долг страны не слишком высок”. («Дзенник — Газета правна», 18 ноября)

• „Сорок лет назад в Знамитовицах у Ружновского озера сосед крестьянина Яна Стаха перегородил единственную дорогу к его дому. Стах не избил его, не отдал под суд. Он решил построить собственную дорогу. А так как на ее пути находился глубокий овраг, решил возвести и мост. Много лет спустя оказалось, что это крупнейший в мире каменный мост, построенный в одиночку, — 15 м в высоту, 12 в длину и 6 в ширину. Заодно появилась и дорога к хозяйству Стаха длиной 500 м. Сегодня этот объект всё еще в прекрасном состоянии. В местных путеводителях он фигурирует в качестве туристической достопримечательности — Моста силача — и привлекает тысячи людей из Польши и со всего мира”. (Дариуш Балишевский, «Впрост», 22 ноября)

• „С каждым месяцем польская экономика растет все быстрее. Рост ВВП в третьем квартале достиг 1,7% — на 0,2% больше, чем предсказывали аналитики. В предыдущем квартале экономика росла в темпе 1,1%, а в начале года — лишь 0,8%. По мнению экономистов, в конце года будет еще лучше, а за весь текущий год рост ВВП достигнет 1,5% (...) Падение спроса на внутреннем рынке затормозилось. По сравнению с прошлым годом оно снизилось на 1,2%, в то время как с апреля по июнь падение составило 2,1% (...) Индивидуальное потребление выросло с 1,7% (во втором квартале) до 2,2% в годовом отношении. Приостановилось сокращение инвестиций: в третьем квартале оно составило лишь 1,5% по сравнению с прошлым годом —

вместо 3% в предыдущем квартале”. (Эльжбета Глапак, «Жечпосполита», 1 дек.)

• Генерал Чеслав Кищак, в 1981–1990 гг. министр внутренних дел, в 1989–1990 гг. вице-премьер: „Масса людей узнаёт меня на улице. Они подходят, заговаривают. Смотрят на меня как на сумасшедшего, когда я начинаю хвалить нынешнее правительство. Стало лучше. Когда я, будучи главой министерства внутренних дел и, как говорят, вторым человеком в государстве, ездил на дачу, мне приходилось возить в багажнике канистру с бензином. Чтобы можно было вернуться. А теперь бензоколонки стоят через каждый километр. В любом магазине я могу всё купить (...) Люди чаще всего спрашивают, когда в Польше будет порядок”. («Дзенник — Газета правна», 20–22 ноября)

• 56,3% поляков хотят, чтобы правительство противодействовало климатическим изменениям даже ценой торможения экономического роста на десятилетия. Почти 62% считают, что мы должны ограничить выброс углекислого газа, даже если это приведет к подорожанию электричества, отопления и горючего. 74,6% из нас уверены, что глобальное потепление, вызванное человеком, представляет собой всемирную угрозу. («Газета wyborcza», 5–6 дек.)

• „Согласно опросу «Мареко-Польша», 70% поляков гасят ненужный свет, 50% чистят зубы, закрывают кран с водой, 45% сортируют отходы, а 43% после зарядки мобильного телефона вынимают из розетки зарядное устройство (...) За последний год число тех, кто пользуется при покупках сумками многоразового использования, выросло вдвое. (...) Хотя мы и поддерживаем введение обязательной сортировки мусора (...) но даже ради охраны окружающей среды не согласны платить за въезд на автомобиле в центр города — 60% опрошенных выступают против этого”. («Ньюсуик-Польша», 29 ноября)

• „Согласно прогнозам экспертов Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), ВВП Польши вырастет в этом году на 1,4%, а в следующем — уже на 2,5%. Прогнозы других организаций колеблются сегодня в пределах от 1% (Международный валютный фонд, Еврокомиссия) до 1,8% (Bank of America Merrill Lynch) на этот год и от 1,2% (Всемирный банк) до 3,5% (Bank of America Merrill Lynch) — на 2010-й”. («Жечпосполита», 20 ноября)

• „Януш Левандовский будет новым комиссаром Евросоюза по бюджетной политике. Вчера председатель Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу представил его как одного из 27 членов

группы, которая должна работать в течение ближайших пяти лет. Поляк будет отвечать не только за подготовку ежегодного бюджета ЕС, но и за планирование финансов ЕС на 2014–2020 гг., объем которых составит почти 900 млрд. евро”. («Польска», 28–29 ноября)

• Януш Левандовский: „Правительства стран нашего континента не едины, потому что он состоит из двух частей, некогда разделенных железным занавесом. Я знаю, как объединить в финансовом отношении несколько частей Европы, и именно это будет моей задачей”. («Польска», 28–29 ноября)

• „Аркадиуш Майшак описал на страницах еженедельника «Палуки», издаваемого в Жнинском и Могиленском поветах, историю одного обелиска. Он был воздвигнут сразу же после «весны народов» [революции 1848 г.] в знак благодарности немецким колонистам, защищавшим эту землю. В 1919 г. (...) эти территории вновь вошли в состав Польши. Обелиск выкопали, а затем установили снова, но вверх ногами, так что немецкая надпись оказалась в земле. На надземной части была сделана новая надпись, увековечивавшая память участников великопольского восстания. В 1939 г. нацисты перевернули обелиск немецкой надписью вверх. В 1945 г. обелиск снова был развернут на 180 градусов, и польская надпись опять оказалась сверху (...) В ближайшее время обелиск еще раз выкопают, очистят и установят так, чтобы были видны обе надписи, что даст каждому возможность увидеть их. Все это для того, «чтобы дать свидетельство истории этой земли», — как сказал местный солтыс Эугениуш Сломович”. (Станислав Тым, «Политика», 5 дек.)

• „За каждый гектар выращиваемых зерновых каждый крестьянин получит в этом году из европейско-польской кассы около 860 злотых (...) Из исследований Института экономики сельского хозяйства в 2006 г. следует, что хозяйства площадью до 5 гектаров расходуют дотации на потребление. Таких хозяйств в Польше 58% (...) Прямые дотации за каждый гектар оказались постоянным, стабильным и надежным источником доходов (...) Поэтому со дня вступления Польши в ЕС и введения дотаций (т.е. с 2004 г.) процесс укрупнения хозяйств затормозился. Между тем чем крупнее хозяйство, тем более эффективно и качественно оно работает (...) Перспективным экономисты считают хозяйство площадью не менее 20 гектаров. В Польше таких хозяйств меньше 7% (...) Они занимают 37% сельскохозяйственных угодий, в то время как в среднем по ЕС эта цифра составляет 76%, а в 15 странах старого

Евросоюза — более 84%». (Кристина Нашковская, «Газета выборча», 27 ноября)

• „Согласно последнему отчету Еврокомиссии, Польша наряду с Люксембургом — единственная страна, где со второго квартала 2008 г. отмечается небольшой рост занятости». («Польска», 24 ноября)

• По данным Главного статистического управления (ГСУ), во втором квартале средняя начисленная зарплата (без годовых премий) составила 3077,26 злотых — на 4,4% больше, чем в тот же период 2008 года. Среднестатистический частный предприниматель зарабатывал 3271 зл., т.е. на 3,8% больше, чем год назад. Больше всего выросли зарплаты в секторе выработки и продажи электроэнергии, газа и горячей воды — более чем на 12% по сравнению с 2008 г. (в среднем 4733 зл.). На втором месте оказались сотрудники государственного управления и национальной обороны — их зарплаты выросли более чем на 7% (в среднем 3779 зл.). Информатики, сотрудники телевидения и издательств получали в среднем 5845 зл., работники финансов и страхования — 5475 зл., шахтеры — 5299 зл., юристы и специалисты по маркетингу и пиару — 4945 зл., крестьяне, рыбаки и лесники — 2930 зл., строительные рабочие — 3419 зл., работники торговли — 3057 зл., промышленные рабочие — 3240 злотых. В конце сентября покупательная способность злотого была на 3,1% меньше, чем в декабре 2008 г. Мясо и сахар подорожали на 9%, квартплата — на 5,3%, электроэнергия — на 10,5%, горючее — на 13,3%, книги и газеты, а также косметические средства — на 2,3%. («Газета выборча», 25 ноября)

• „Согласно отчету Дублинского фонда, Польша принадлежит к тем странам ЕС, в которых совмещать профессиональную деятельность с воспитанием детей чрезвычайно сложно. Эксперты фонда, занимающегося вопросами улучшения условий жизни и труда европейцев, не сомневаются, что именно по этой причине в нашей стране слишком низкий естественный прирост. По самым последним данным Евростата, среднестатистическая полька рождает всего 1,3 ребенка (...) По т.н. детности мы занимаем 26 место среди 27 стран-членов ЕС». («Дзенник — Газета правна», 25 ноября)

• „По данным отчета ЮНИСЕФ, польские дети не обеспечены хорошим медицинским обслуживанием (...) Авторы отчета обращают особое внимание на плохое состояние образования маленьких поляков. «Школа дает им знания, но не учит самостоятельно мыслить и действовать. В результате польские школьники занимают первые места на европейском конкурсе

знаний о ЕС, но последние по общественной активности», — говорит Эльжбета Чиж из Хельсинского фонда, который участвовал в подготовке отчета (...) Риск смертности среди самых маленьких у нас на 40% выше, чем в «старом ЕС». Причина заключается прежде всего в малодоступности педиатров и запоздалом диагностировании тяжелых заболеваний (...) «В Польше плохо действует система помощи детям-инвалидам и детям, подвергающимся насилию», — сообщает Зофья Дульская из ЮНИСЕФ". («Дзенник — Газета правна», 20-22 ноября)

• „Влоцлавек насчитывает 115 тыс. жителей (...) Уровень безработицы составляет сегодня около 14% (...) Фонд «Мать-одиночка», основанный и руководимый депутатом от Союза демократических левых сил (СДЛС), одним из самых богатых поляков Кшиштофом Гжондзелем, оказывает помощь полутора тысячам семей, т.е. около 4,5 тыс. человек (...) Фонд поддерживает тех, кто по каким-либо причинам вынужден в одиночку воспитывать детей (...) и чьи семейные доходы не превышают 450 зл. в месяц на человека (...) Ежемесячно подопечные — как дети, так и их матери, — могут воспользоваться 140 оплаченными для них приемами у стоматолога и 20 обследованиями у окулиста. Выделяется финансовая помощь на лекарства и очки. Планируются также другие обследования и лечение, в т.ч. обеспечение женщинам возможности сделать маммографию. Один из способов вырваться из нищеты — образование как родителей, так и детей. Поэтому фонд приглашает и тех, и других на бесплатные курсы английского языка (...) Сейчас Гжондзель обдумывает организацию для безработных матерей курсов, помогающих основать собственную фирму. Помогает фонд и студентам (...) Стипендия составляет 350 зл. в месяц. Их уже больше 25-ти, а в этом году вузы окончили первые инженеры (...) На нужды фонда ежегодно выделяется 800-900 тыс. злотых (...) Фонд был основан в августе 2005 г., но еще до этого Кшиштоф Гжондзель много лет помогал нуждающимся (...) Например, он купил восемь квартир для детей из детского дома, а другие, купленные городом, отремонтировал". (Агата Грабау, «Пшеглэнд», 15 ноября)

• „Согласно опросу ГфК «Полония», 67% поляков считают, что предприниматели работают больше всех остальных. Три года назад такое мнение выражало немногим более половины опрошенных (...) Положительно оценивается и полезность предпринимателей для общества — о ней говорят 74% (...) По мнению 56% поляков, предприниматели инвестируют в свои предприятия. 46% из нас считают, что предприниматели

честны по отношению к государству, а 43% — что они заботятся о сотрудниках”. («Жечпосполита», 21-22 ноября)

• „Польским предпринимателям удастся подвергнуть вторичной переработке менее 5% коммунальных отходов. Остальные попадают на свалки (...) В Германии на свалки попадает 20% всего мусора, столько же на мусоросжигательные заводы, а остальное используется в качестве вторсырья (...) Мы обязаны выполнять европейские минимумы. В 2014 г. мы должны будем перерабатывать четвертую часть коммунальных отходов. Более того, до конца 2010 г. наша страна должна уменьшить количество отходов, подлежащих биодegradации (...) на четверть по сравнению с уровнем 2005 года. В 2014 г. этот показатель должен снизиться вдвое. Эти цели почти недостижимы (...) В результате Польша в худшем случае будет вынуждена ежедневно платить 200 тыс. евро штрафа”. (Павел Врабец, «Польска», 28 ноября)

• „Уже 13 лет одна из самых богатых энергетических компаний с участием государственного капитала «Энеа» обеспечивает заработок двум профсоюзам — при помощи созданных ею фирм «Бюросервис» и «Энерго-тур». В правление этих фирм входят деятели обоих профсоюзов. Профсоюзы шумно борются за интересы трудящихся, а сами потихоньку живут за счет доходов от правления. Симбиоз был нарушен планами приватизации”. (Войцех Тесля, Артур Грабек, «Дзенник — Газета правна», 24 ноября)

• „Лишь в прошлом году Горно-металлургический медный концерн (ГММК), компания, в которой решающий голос принадлежит государству, выделил на деятельность профсоюзов 8,2 млн. злотых. Из них 7,5 млн. были предназначены на зарплаты штатных работников (...) Начисленная зарплата профсоюзников-рекордсменов составляет 275 тыс. зл. в год, больше 22 тысяч в месяц (...) Молодой шахтер получает на руки 2200-2400 зл. в месяц, включая премии. В ГММК имеется 15 профсоюзов (...) В них работают 42 штатных профсоюзных деятеля (...) Те из них, кто принадлежит к трем крупнейшим организациям, получают служебные машины. Телефонные счета и офис им оплачивает ГММК. Он же платит за горючее для автомобилей”. (Войцех Тесля, Артур Грабек, «Дзенник — Газета правна», 23 ноября)

• Барбурка (день св. Барбары) — праздник шахтеров. „Отряды знаменосцев и крестный ход двинутся к церкви на мессу (...) Обед в конференц-зале. Уже разосланы приглашения властям и духовенству. В спортзале состоится торжественное заседание. Шахтерам вручат дипломы и заступы. Выступит кабаре (...) «А

как же шахтеры, пострадавшие от несчастных случаев? Они придут?» — спрашиваем мы. «Мы не можем пригласить всех, так как число мест ограничено». (...) «А получившие ожоги?» (...) «Обычно этих людей не приглашают»». (Дариуш Кортко, Анна Малиновская, «Газета выборча», 3 дек.)

• „Во время Барбурки премьер Дональд Туск говорил шахтерам, что их работа очень важна, а уголь — это богатство Польши (...) Потом все дружно участвовали в застолье. Премьер вместе с шахтерами раскачивался в такт шахтерским песням, съел рульку с капустой, выпил пива”. («Газета выборча», 5-6 дек.)

• „Вот уже несколько лет в Варшаве нет недостатка в любителях японской кухни (...) Самый дешевый спектакль «боди-суши» стоит 2100 злотых. За эту сумму клиенты целый час могут есть японские лакомства прямо с тела обнаженной модели”. («Польска», 18 ноября)

• „Подписанные президентом поправки к Уголовному кодексу предусматривают принудительное лечение педофилов и ужесточение наказаний за сексуальные преступления, а также запрещают продажу и использование коммунистической и фашистской символики”. («Впрост», 6 дек.)

• „Обвинения, выдвигаемые семьями жертв НКВД, имеют основания, — постановил Европейский суд по правам человека в Страсбурге (...) Правительство России обязано до 10 марта 2010 г. разъяснить страсбургским судьям действия российского правосудия по катынскому делу (...) Суд предварительно признал обвинения родственников жертв обоснованными и согласился на т.н. ускоренное разбирательство”. («Жечпосполита», 4 дек.)

• „Вот уже больше года фонд «Пресс-центр стран Центральной и Восточной Европы» организует дискуссии представителей польской и российской интеллигенции(...) Прошедшая в последние выходные дискуссия касалась прошлого. «Как поляки, так и русские отличаются сильным ощущением национальной самобытности, что, возможно, и становится одной из причин недоразумений», — сказал во вступительном слове проф. Эдмунд Внук-Липинский (...) Часто поиски истины требуют пересмотра самосознания, к чему часть граждан России всё еще не готова. Эти люди по-прежнему строят свое самосознание на мифе о победе СССР во II Мировой войне и о непогрешимом Сталине — верховном главнокомандующем Красной Армии. Российский социолог проф. Игорь Клямкин пришел к выводу, что такой пересмотр будет возможен тогда, когда Россия станет демократической страной: «При

демократии историей занимаются в первую очередь историки, а не политики, а у нас проблема идентичности до сих пор в большей мере является продуктом политической пропаганды, а не истории или культуры»". («Газета выборча», 16 ноября)

• Профессор Варшавского университета Иренеуш Кшемминский: „Результаты исследований национальных и этнических стереотипов в 1990–1995 гг. показывают интересный процесс роста положительного отношения поляков ко всем национальностям, отмирание страха, даже перед украинцами, к которым обычно относились с наименьшей симпатией. Около 1995 г. эта тенденция идет на спад (к счастью, это не касается украинцев). Я связываю это с деятельностью радио «Мария» которое стало общественным рупором откровенно националистических, ксенофобских и антисемитских взглядов”". («Газета выборча», 21–22 ноября)

• „Депутаты гмины Орля в Подлясском воеводстве решили ввести информационные таблички на двух языках. При въезде и выезде из двадцати пяти деревень их польские названия будут продублированы по-белорусски, кириллицей. Весной 2009 г. депутаты решили, что белорусский будет вспомогательным языком в учреждениях и организациях, подчиняющихся гминному самоуправлению. Во время всеобщей переписи населения 70% жителей Орли причислили себя к белорусам (...) Белорусским в качестве вспомогательного языка можно пользоваться также в Хайнувке (решение принято с перевесом в один голос) и Наревке”". («Пшеглэнд православный», ноябрь)

• „Белорусские власти выдали разрешение на открытие в Минске офиса «Европейского радио для Беларуси» — независимой радиостанции с центральной редакцией в Польше”". («Газета выборча», 14–15 ноября)

• „В меру стабильная экономика, более низкая коррупция, чем на Украине и в России, а прежде всего возможность экспансии на соседние рынки все чаще привлекают в Белоруссию инвесторов (...) Число польских фирм в Белоруссии перевалило уже за полтысячи (530) и продолжает расти (...) Пока это преимущественно инвесторы из сектора малого и среднего бизнеса (МСБ). Большинство из них представляют деревообрабатывающую отрасль и торговлю — по 11%, а также пищевую промышленность — 10%. На долю последних приходится треть всех капиталовложений польских фирм, оцениваемых в конце прошлого года в 280 млн. долларов (...) Инвестиции польского МСБ касаются также строительства и сельского хозяйства”". (Адам Возняк, «Жечпосполита», 10 дек.)

• „Россия обратилась к польскому правительству с предложением протянуть трубопровод «Дружба» (...) до порта Вильгельмсхафен на берегу Северного моря (...) Эксперты предостерегают, что поддержка такого проекта может поставить под удар (...) трубопровод Одесса — Броды — Плоцк, по которому мы могли бы импортировать сырье из района Каспийского моря. Кроме того, это приведет к маргинализации Нефтепорта, нашего единственного нефтяного порта”.
(«Дзенник — Газета правна», 13-15 ноября)

• „Польский нефтегазовый концерн «Орлен» подписал со швейцарской компанией «Souz Petroleum Establishment» трехлетний контракт на ежегодную поставку 4,8 млн. тонн российской нефти, начиная с января 2010 года. Стоимость контракта — 8 млрд. долларов при цене нефти около 76 долларов за баррель (...) В Плоцк нефть должна поступать по трубопроводу «Дружба», а в случае проблем с транспортировкой по трубе, «Souz» обязан поставлять ее танкерами, не меняя цену (...) Подписанный ранее договор с фирмой «Petraco» и новый договор с «Souz Petroleum» покрывают 60% объема необходимой «Орлену» нефти”.
(«Газета выборча», 28-29 ноября)

• „Заключая газовый контракт с Россией до 2037 г., Польша купила себе четверть века на инвестиции в энергетическую безопасность. Но уверенности в том, что это время будет использовано надлежащим образом, нет. Может быть, на это и рассчитывают россияне, прекрасно знающие наш характер и отсутствие стратегического мышления”. (Мартин Войцеховский, «Газета выборча», 14-15 ноября)

• „«Газпром» не завершил газовых переговоров с министерством экономики, несмотря на то, что вчерашний гала-концерт российского симфонического оркестра в варшавском Большом театре должен был придать торжественность подписанию этого контракта”. («Газета выборча», 27 ноября)

• „Шансы на то, что соглашение с Россией по поставкам газа удастся подписать в этом году, невелики. Москва выдвинула очередные требования, теперь то же самое, вероятно, сделает и польская сторона. По новому ямальскому контракту с января мы должны были получать больше российского газа”.
(«Дзенник — Газета правна», 30 ноября)

• „«Трудно понять, зачем россияне вносят всё новые вопросы», — сказал вчера в Кракове вице-премьер Вальдемар Павляк (...) У него уже не осталось надежд на скорое окончание переговоров,

тянувшихся с начала года (...) Еще в конце июля, предъявляя в последний момент новые требования, россияне заблокировали завершавшиеся переговоры. Газовщики пытаются понять, что происходит”. («Газета wyborча», 1 дек.)

• „«Газпром» ставит новые условия, подписание договора откладывается. В связи с этим Польша решила начать переговоры с другими партнерами. Речь идет о крупнейших европейских газовых компаниях, которые в настоящий момент по причине кризиса располагают излишками сырья (...) У Польши имеются запасы, которые позволят спокойно пережить зиму, даже если бы возникли трудности с российскими поставками (...) Вице-премьер Вальдемар Павляк уверяет, что подписание договора с «Газпромом» не поставит под угрозу постройку газопорта. «Зависимость от России — это политический миф», — заверил он”. («Дзенник — Газета правна», 3 дек.)

• „Сегодня мы нуждаемся в интерконнекторах, т.е. в трубопроводах, которые соединили бы нас с западной системой. Газ мог бы течь по ним в обе стороны, и не обязательно непрерывно. Польская газовая система нуждается в запасных вариантах, которые могли бы спасти ее в критических ситуациях, а также поддержать соседей, если они будут терпеть нужду. Польша настойчивее всех требовала энергетической солидарности в ЕС”. (Адам Гжешак, «Политика», 14 ноября)

• „Строительство газопровода Бернау—Щецин Польским нефтегазовым концерном (ПНГК) и компанией «Verbundnetz Gaz» (VNG) стоит под вопросом. (...) Обнародованные несколько дней назад изменения в акционерной структуре VNG могут приостановить инвестицию или отодвинуть ее на несколько лет. Купив пакет более 5% акций у французского концерна GDF, российский «Газпром» стал ключевым пайщиком VNG (...) В такой ситуации трудно ожидать, что ПНГК будет продолжать подготовку к строительству”. (Агнешка Лакома, «Жечпосполита», 4 дек.)

• Структура поставок природного газа на польский рынок в 2008 г.: импорт из Российской Федерации — 49,5% (7377,8 млн. кубометров), собственная добыча — 28,7% (4282,7 млн.), импорт из Туркмении — 15,9% (2377,7 млн.), импорт из Германии — 5,8% (858,7 млн.), импорт с Украины — 0,03% (4,8 млн.), импорт из Чехии — 0,002% (0,3 млн.). Всего с востока мы получаем 65,5%, а с других направлений — 5,8%. Источник: mg.gov.pl. («Пшеглэнд», 6 дек.)

- „Россия занимает в польской внешней торговле второе место как экспортер и лишь шестое — как импортер. Отрицательное сальдо товарооборота с Россией в 2008 г. составило почти 12 млрд. долларов (...) Наш годовой импорт из России составляет почти 20 млрд. евро”. («Пшеглэнд», 29 ноября)
- Виктор Ерофеев: „В настоящий момент принципиальный спор между Польшей и Россией касается Украины. Это реальный и в то же время косвенный политический конфликт (...) Польша хочет вырвать Украину из-под влияния России, что приводит Россию в ярость. В результате Польше кажется, что ярость России может переродиться во что-то опасное (...) Польско-российский конфликт будет продолжаться до тех пор, пока позиция Украины будет оставаться неопределённой. Так что у поляков нет причин для обиды. Они должны осознать, что польские и российские интересы на Украине сталкиваются”. («Ньюсуик-Польша», 13 дек.)
- „Согласно опросу «ІFAK Ukraine», Польша — наиболее дружелюбно расположенная к Украине страна. Так считают 26% респондентов — почти одинаковое количество на западе и востоке страны. На втором месте оказалась Россия. Ее выбрали 17% украинцев, но лишь 9% из них — на западе Украины”. («Жечпосполита», 27 окт.)
- Президент Украины Виктор Ющенко: „Важным примером является история наших отношений, демонстрирующая, что два демократических государства, невзирая на сложное прошлое, смогли простить друг друга и прийти к взаимному примирению. Мы ценим открытую политику Польши, поддерживающей стремление Украины в Европу. Это говорит о том, что у нас общая система ценностей. Это цель, которая нас объединяет”. («Жечпосполита», 8 дек.)
- „Польша, Украина и Литва создадут общую бригаду, которая будет участвовать в миссиях ООН, НАТО и ЕС. Такое решение приняли вчера в Брюсселе министры обороны трех государств. Штаб и командование новой части будут размещены в Польше, а подразделения останутся в своих странах и будут вводиться в действие по мере необходимости (...) В бригаде должны соблюдаться стандарты, принятые в НАТО. Рабочим языком будет английский”. («Польска», 17 ноября)
- „После вывода польских военнослужащих из Сирии (350) и Ливана (500) польский флаг был спущен также в Ирбе (Республика Чад). (...) Военнослужащие (330) возвращаются в Польшу (...) первая группа — 8 декабря, вторая и последняя — 17 декабря”. («Газета wyborча», 7 дек.)

• „Польша пошлет в Газни еще 600 военнослужащих (...) В 2010 г. число наших солдат в Афганистане вырастет до 2600 (...) Стратегический резерв в Польше будет увеличен с 200 до 400 человек”. («Польска», 3 дек.)

• „Миф борьбы за независимость, согласно которому поляки из поколения в поколение не делали ничего другого, как только противостояли царизму и коммунизму, имеет мало общего с истиной. Чтобы отождествиться с этим мифом, большинству из нас пришлось бы ампутировать свою семейную память: вычеркнуть из нее всех милиционеров, военных, партийцев и сексотов, которых спецслужбы вербовали из всех общественных слоев и групп: интеллигенции, рабочих, крестьян, военных, священников. В партии состояло несколько миллионов человек. Было, а словно и не было. Этим никто не хвастается — похвастаться тут и в самом деле нечем”. (Александр Качоровский, «Ньюсуик-Польша», 8 ноября)

• „Я приношу свои соболезнования польской национальной независимости и государственному суверенитету Польши в связи с тем, что для вручения иностранным гражданам польских государственных наград требуется согласие диктаторов и нелегитимных президентов других стран», — написал в открытом письме президенту Леху Качинскому российский диссидент Александр Подрабинек, корреспондент Международного французского радио (RFI) в Москве (...) В четверг Канцелярия президента Республики Польша направила в МИД письмо с просьбой обратиться к Медведеву за согласием на вручение Подрабинеку награды (...) Но Подрабинек ордена уже не хочет. «Сложившиеся обстоятельства вынуждают меня поблагодарить господина президента за оказанную мне высокую честь, но тем не менее отказаться от получения ордена», — сказал он. Недавно прокремлевская молодежная организация «Наши» угрожала Подрабинеку смертью». (Войцех Выбрановский, «Жечпосполита», 24 ноября)

• Согласно опросу ЦИОМа, работой президента Качинского довольны 24% поляков. Недовольство выражают 62%». («Впрост», 29 ноября)

• Согласно опросу ГфК «Полония», проведенному 3-8 декабря, на президентских выборах Дональд Туск получил бы 27% голосов, Лех Качинский — 18%, Влодзимеж Цимошевич — 13%. («Жечпосполита», 10 дек.)

• „Согласно опросу ЦИОМа, проведенному 4-6 ноября, Дональду Туску доверяют 49% поляков (...) Лидером рейтинга стал министр иностранных дел Радослав Сикорский — 53%, третий

результат у маршала Сейма Бронислава Коморовского — 48%. Самое большое недоверие уже много месяцев подряд вызывает председатель «Права и справедливости» (ПиС) Ярослав Качинский (ему не доверяют 54% поляков), а также президент Лех Качинский (45%)». («Газета wyborcza», 1 дек.)

• „Согласно опросу ЦИМО, работу премьер-министра Дональда Туска негативно оценивает 51% поляков. Положительную оценку ей дают 40% респондентов. Работу правительства хорошо оценивают 28% поляков, плохо — 65%”. («Жечпосполита», 27 ноября)

• „В ежегодном отчете «Transparency International» Польша поднялась на 10 мест. В опубликованном этой организацией «Индексе восприятия коррупции 2009» Польша получила 4,6 балла из 10 ти и оказалась на 49 месте — на уровне Бутана и Иордании. Ноль означает отсутствие коррупции. Похожие места заняли Болгария, Чехия, Греция, Латвия, Румыния и Словакия”. («Жечпосполита», 18 ноября)

• „Более половины судей подали заявления об отказе вести дело о коррупции в Подкарпатском самоуправлении. В обвинительном акте фигурируют пять человек, в т.ч. бывший директор управления маршала Подкарпатского воеводства, замдиректора кабинета маршала, бывший замдиректора организационного департамента в управлении маршала, а также секретарша одного из вице-маршалов. Заявления об отказе вести дело подало большинство из 80 судей районного суда в Жекове. Пока судить не хочет никто”. («Наш дзенник», 8 дек.)

• „Парламент в ускоренном темпе принял закон об азартных играх. Первое чтение прошло во вторник, а голосование состоялось в четверг. Вне закона объявлены электронные лотереи, в течение пяти лет из баров и торговых центров должны исчезнуть несколько десятков тысяч автоматов, с нового года значительно вырастет налог на их содержание (зато налоги на букмекерскую деятельность вырастут умеренно). Азартные сайты в Интернете должны зарегистрировать адрес www в Польше и платить налоги. Сенаторы приняли закон без поправок, президент собирается подписать его и передать в Конституционный суд”. («Тыгодник повшехный», 29 ноября)

• Согласно опросу ЦИОМа, проведенному 2-9 декабря, ГП поддерживают 36% поляков, ПиС — 24%, СДЛС — 7%, крестьянскую партию ПСЛ — 4%. («Жечпосполита», 12-13 дек.)

• Тадеуш Сирийчик, бывший министр промышленности, бывший министр транспорта и морского хозяйства, а также бывший представитель Польши в Совете директоров Европейского банка реконструкции и развития: „В специфических условиях современной политики — при значительной роли телевидения и растущей роли Интернета, при ускоренном информационном обмене, затухающей памяти о реально испытанных кризисах и реальном значении политики для общества и государства — действующее правительство может оставаться у власти. Демократия порождает не настоящих лидеров, а людей, которые соответствуют средним эмоциям избирателей (...) Боюсь, что сегодня действует принцип: каждому, кто будет слишком громко говорить о необходимости реформ, нужно как минимум заткнуть рот, чтоб не мешал (...) Сегодня государство, экономика и общество находятся в лучшем положении, чем двадцать или десять лет назад, а объем и конфликтность необходимых мер меньше, чем в былые времена. Компромисс между необходимостью изменений и обоснованными опасениями относительно их последствий смещен — в результате правительство даже не пытается предпринимать действия, которые выходили бы за горизонт ближайших выборов”. («Газета выборча», 14-15 ноября)

• Мацей Плажинский, один из основателей ГП и ее бывший председатель: „В зрелых демократических обществах встречаются двухпартийные системы, но есть также внутренняя демократия и соперничество. Лидеров меняют, и не бывает так, что лидер вправе выгнать каждого, кто ему не по вкусу (...) У нас двухпартийная система в восточноевропейском варианте. Партии стали собственностью лидеров (...) Эти партии производят впечатление сильных, но в действительности это не так. Они плавают на поверхности, они не вросли в общество, как немецкий ХДС. Им удалось лишь завладеть общественным диалогом”. («Польска», 3 дек.)

• „Премьер-министр предложил внести изменения в конституцию (...) Он предлагает усилить исполнительную власть, особенно позицию премьера, и ослабить позицию президента, последовательно изменив правила его избрания. Президент должен был бы избираться не на всеобщих выборах, а Национальным Собранием (совместно Сеймом и Сенатом). Кроме того, число депутатов сократилось бы на сто человек. Сейм состоял бы не из 460, а из 360 депутатов. Изменилось бы также положение о выборах, став «смешанным» [часть собрания избиралась бы по пропорциональному принципу,

часть — по мажоритарному], появились бы одномандатные избирательные округа”. (Ян Видацкий, «Пшеглэнд», 6 дек.)

• Проф. Генрик Самсонович, бывший министр национального образования: „Характерной чертой европейской цивилизации, которая, впрочем, постепенно становится чертой большинства стран земного шара, является то, что я называю плюрализмом власти. Монопольная власть рано или поздно дегенерирует, тому есть множество примеров. Начиная с VII или IX в. (...) в Европе всегда сохранялось такое состояние, при котором власти взаимно контролировали друг друга. Ставился вопрос: кто должен нами править — Папа или император? Местный правитель или городская коммуна? ” («Польска», 28-29 ноября)

• Ярослав Говин, философ, депутат от ГП: „После выборов 2005 г. (...) я сидел в ресторане Сейма с одним важным политиком. Я был разгорячен, говорил, что мы с «Правом и справедливостью» должны создать общее правительство, чтобы осуществить нашу программу. А он мне вдруг отвечает: «ПиС победил, пусть теперь сам создает себе правительство». — «Но ведь мы несколько лет обещали [такое] правительство нашим избирателям. Как можно отказаться от этого обещания?» — спросил я. На это он с миной политического гурзу ответил: «Запомни, первое правило в политике — пошли избирателей на...» Я многое понял, услышав эти слова. Такая позиция часто встречается у представителей всех партий. Вблизи политика мало напоминает то, что писали о ней Платон, Аристотель или Фома Аквинский”. («Впрост», 15 ноября)

• „Отец Ян Гранде из ордена бонифратров (...) советует, как уберечься от гриппа (...) Первым делом позаботимся о том, чтобы в осенне-зимний период есть не меньше килограмма лука в неделю, а кроме того — зубчик-два чеснока в день”. («Польска», 10 ноября)

• Уполномоченный по правам человека Януш Кохановский: „Еще в школе нас учили, что нет лучшего метода профилактики эпидемий, чем прививка. Когда я это говорю, то в ответ слышу, что лоббирую интересы фармакологических фирм”. («Польска», 20 ноября)

• „787 подтвержденных случаев заражения гриппом А/Н1N1v, 17 — со смертельным исходом. У большинства зараженных болезнь протекала очень спокойно”. («Тыгодник повсехный», 6 дек.)

- Проф. Петр Винчорек: „Современная Польша (...) не определена в конституции как светское государство. Но она не определена и как конфессиональное государство с одной привилегированной религией. Совсем наоборот: согласно конституции, Церкви и другие конфессиональные объединения имеют в Республике Польша равные права”. («Жечпосполита», 11 дек.)
- Проф. Кароль Модзелевский, один из создателей и лидеров первой «Солидарности»: „Человек видит, что повлиял на ход истории — но не так, как собирался. Уверенность, что ему удастся контролировать механизм, который он сам запустил, оказалась иллюзией”. («Тыгодник повсехный», 25 окт.)
- За последние 30 лет популяция тетеревов в Польше уменьшилась на 95%. С 2007 г. тетеревов привозят из Белоруссии. Вся польская популяция глухарей насчитывает 400 (прописью: четыреста!) особей. («Тыгодник повсехный», 9 дек.)
- „В Польше ежегодно убивают миллион животных только ради их меха (...) Поверхность клеток, в которых на фермах содержатся лисы, составляет 0,6 кв.м. В природных условиях им нужно для жизни несколько десятков квадратных километров”. («Ньюсуик-Польша», 29 ноября)
- „Решение краковского суда, который оправдал мужчину, обвиняемого в умерщвлении собак с целью переработки их на смалец, вызвал бурную дискуссию (...) Это не первое дело такого рода (ежегодно стараниями Общества защиты животных в суды попадает около 30 таких дел). До сих пор все приговоры были обвинительными, хотя наказание давалось условно (...) Месяц назад пенсионер из Янковиц на глазах шестилетней девочки утопил кошку. Суд приговорил его к четырем месяцам тюрьмы, приговор был приведен в исполнение. За несколько месяцев до этого районный суд в Конских приговорил англичанина на год тюрьмы за издевательство над лошадьми. Еще один приговор — год тюрьмы за издевательство над собакой — вынес районный суд в Кросне-Оджанском. Приговоренный мужчина полтора десятка дней бил, пинал ногами и наконец повесил на цепи свою собаку”. (Агата Лукашевич, «Жечпосполита», 19 окт.)
- Черному лабрадору Румбе больше четырех лет (...) Летом 2007 г. в Гданьске на пляже Румба бросилась в воду и поплыла в море. Через минуту оказалось, что она толкает к берегу какого-то ребенка. Она притащила на пляж тонущего семилетнего Кшися. Вчера Румба получила награду «Собака — герой года». Награду

«Собака — профессионал» получила Жепа — семилетняя немецкая овчарка, выученный пес-спасатель. Она принимала участие в 70 операциях. Нашла пятерых человек, в том числе троих живых. Два года назад она нашла 13 летнего мальчика, потерявшегося в лесу. Спасателем она подвела к нему так тихо, что он даже не проснулся. (Доминика Ольшевская, «Газета выборча», 3 дек.)

• „Наконец-то кто-то решился на это. Неукоснительная тюрьма за жестокое убийство животного. На полгода должен попасть за решетку мужчина, который зверски убил свою кошку. Осужденный колотил кошкой об стенку, а потом отрубил ей голову топором”. («Политика», 5 дек.)

• „По данным министерства, в Польше ежегодно используется в научных целях (не считая ветеринарного образования) 120 тыс. мышей, 70 тыс. крыс, 1,3 тыс. лошадей и около тысячи собак. Надзор надо всем этим осуществляют, конечно, комиссии по вопросам этики. Проблема заключается в том, что пропорция голосов защитников животных и ученых составляет в них 2:7 (в местной комиссии в Варшаве) или 3:12 (в общепольской комиссии)”. (Шимон Головня, «Ньюсуик-Польша», 22 ноября)

• „Януш Ожеховский — предприниматель, один из основателей двух частных вузов в Варшаве. Если бы он не потерял двух любимых дворняг (помощь подоспела слишком поздно), может, ему и не пришлось бы в голову купить машину «скорой помощи» с оборудованием, которая ездит к кошкам и собакам — так же как к людям в случаях угрозы жизни. Закон не предусматривает существования «скорой помощи» для животных, не позволяет купить «скорую» тому, у кого нет лечебницы, поэтому Ожеховский ее основал (...) при своем фонде «Сердце сердец» (...) Польша пока не подписала конвенции о защите домашних животных (...) В закрытых судоверфях в Гдыне и Щецине бывшие сотрудники создали Комитет помощи кошкам, работавшим на верфи (КПКРНВ)”. (Эльжбета Исакевич, «Тыгодник повсехный», 13 дек.)

• Гжегож Линденберг, доктор социологии, один из основателей «Газеты выборчей», создатель и первый редактор «Супер-экспресса», соавтор путеводителей по Тоскании и Умбрии, поселился в деревне в 40 км от Варшавы: „Я увидел, как выглядит сойка. К дому подходят фазаны, цапли, журавли, косули. Меня будит дятел. Появлялись кабаны (...) Охотники не подходят (...) Иногда издали слышу выстрелы (...) Я увидел то, чего не видно в Варшаве. Множество блуждающих, вывезенных в неизвестность и брошенных животных. У меня живут уже две собаки и три кошки. Мы распихали по

родственникам и знакомым множество животных, но эти возможности со временем исчерпываются”. («Политика», 5 дек.)

• Агата Бузек, актриса: „Есть одна вещь, которая меня очень тревожит. Животные. Сами о себе они не позаботятся. Я люблю людей, но как вспомню, что они делают с животными, перестаю. Никто не думает, откуда эта котлета, с каким страданием она связана. В нашем доме нет ни мяса, ни рыбы. Адам защищает меня — например, когда приходят праздники. Когда родственники хотят привезти индейку, мы отказываемся (...) Куда ни помотришь, везде видны страдания и смерть животных”. («Газета wyborча», 20-21 ноября)

МНЕ НРАВИТСЯ НЫНЕШНЯЯ МОЛОДЕЖЬ...

— Часто ли вы, пани профессор, думаете о прошлом?

— Очень часто. Переносюсь в минувшие времена — это картины, места и лица, слышу слова. У меня исключительно хорошая память. Я назвала бы ее видеоманитофонной — можно вставить кассету и воспроизвести фильм с любого места.

— Так перематываем эту кассету во времена вашего детства.

— О, я была бунтовщицей, сумасбродкой. До войны меня держали в ежовых рукавицах. Это был интеллигентский виленский дом. Мама закончила медицинский факультет и работала врачом-педиатром, отец был юристом: преподавал в университете и одновременно работал адвокатом. Благодаря этому родители могли себе позволить большую квартиру, служанку и бонну. Бонны были репатриантками из Франции, так что мне с детства приходилось учить французский. С боннами мы ходили в Бернардинский сад, самый большой парк в Вильно, а так как у знакомых моих родителей были одни сыновья, то я пребывала главным образом в компании мальчиков. С одним из них мы убежали от наших бонн на берег Вилии, они нас искали, потом нас наказывали, но я и продолжала делать то же самое. И еще одно: я словно собака убегала в еврейские кварталы. Они мне очень нравились, потому что были такими южными, люди разговаривали на странном языке и много времени проводили во дворе, прямо жили во дворе, как в Италии. Дворовые дети звали меня с ними играть, можно было поваляться в грязи, и это страшно привлекало. Хуже, что взрослые прогоняли меня к маме. Сначала угощали, я там ела какой-то мед, а потом гладили по головке: «Какая хорошая девочка, но теперь уж иди домой». Мне, крохе, было пять-шесть лет, — и их охватывал ужас, что я прихожу туда одна. Поэтому мы вместе с детишками потом прятались по чердакам, чтобы их родители меня не увидели и не отправили обратно.

— Вы не были типичной девочкой своей эпохи.

— Я не любила ничего девчоночьего. Не играла в куклы, очень плохо рукодельничала, не умела ни готовить, ни рисовать. А

еще была рассеянной: в школу шла в одних галошах, а возвращалась в других. Когда началась война, мне было девять лет. Отец попал в плен, мать целый день работала, зарабатывала на нас и на содержание дома. Я, с одной стороны, должна была присматривать за маленькой сестрой, так как некому было этим заниматься, а с другой — располагала большой свободой. Школу время от времени прогуливала. Возле нашего дома, в самой середине того сада, была настоящая гора Парк, прозванная горой Буффало, — размерами побольше, чем сегодняшний Саский [Саксонский] сад в Варшаве. Там играла всякая шпана, одни мальчишки, такая неучащаяся молодежь, и я с ними подружилась.

Когда в 1940 г. в Вильно во второй раз вступили большевики, они вышвырнули маму из квартиры. Нас переселили в страшную, прогнившую квартиру, но спустя полгода ее удалось поменять на другую. Сравнительно приличную, но в таком районе, где было полно шпаны. Я проводила с ними много времени, мы бросались камнями, лазили по заборам и деревьям, я училась ругаться, говорила дома «к чёрту», «чёрт бы побрал» и прочие, еще худшие слова.

— **Война вас обеспечила оригинальное воспитание.**

— Мама была в ужасе, но мало что могла поделать, так как все дни проводила на работе. Это было, впрочем, характерно для того поколения: ни у кого не хватало ни времени, ни возможности подумать, как развивать в детях основные принципы хорошего воспитания. Родителей просто не было дома: либо тяжело работали, либо погибли, либо сидели в плену. Мы были самостоятельными детьми. Нам приходилось помогать взрослым: зарабатывать, ходить по крестьянам, копать картошку, пилить дрова. Мне было девять лет, и, когда у меня спрашивали, кем я стану, я отвечала: извозчиком. Такси в Вильно ездили тогда редко и стоили очень дорого, автобусов было только два, а трамваев вообще не было. Я любила ездить пролеткой и подумала, что это превосходная профессия: целый день катаюсь, получаю за это деньги, да еще я как женщина — извозчик экзотический, а значит, пользуюсь успехом и хорошо зарабатываю.

В 1941 г. в Вильно вступили немцы, а в 1943 г. я втянулась в деятельность компанейско-конспиративной группы, состоявшей из одних мальчиков. Они тоже меня приняли и терпели исходя из принципа, что я им ровня, «свой парень», и со мною можно коней красть. «Ты своей смертью не умрешь», — говорили они мне. Подпольные школы тоже были с

совместным обучением, и мы с моей подругой Вандой предпочитали компанию мальчиков.

— Война закончилась, и вы провели несколько лет в Лодзи, в прославленной женской школе Э. Щанецкой.

— Мне стукнуло пятнадцать лет, и я вышла из стадии извозчичьей пролетки, ругательств и лазанья по заборам. К Щанецкой ходили прекрасные девушки; в моем классе, четвертом гимназическом, училось очень много варшавянок, которые пережили Варшавское восстание. Умные, толковые и любознательные. Они, конечно, говорили, что я чудачка, так как я не заботилась ни об одежде, ни о том, чтобы обзавестись мальчиком, но эти различия не были существенными. Мы по-настоящему дружили. В лицее меня даже выбрали старостой класса, потом председателем школьного самоуправления, а это была тогда серьезная организация, так что я в каком-то смысле считалась звездой. Такой социометрической звездой. Нас было пять подруг, но помимо этого мы вместе с другими одноклассницами организовали собственный дискуссионный кружок, тайный, чтобы в нашу элиту не лез кто попало. У нас были товарищи из мужских гимназий, а также — и это уже было отличием, своего рода наградой — у некоторых девушек появились постоянные кавалеры из Политехнического института. О, это было просто супер, они приходили к нам на школьные вечера или мы вместе шла на вечеринки. У кого были подходящие жилищные условия и патефон, тот и приглашал. Я свой патефон получила лишь после экзаменов на аттестат зрелости. Вечера устраивались почти каждую неделю. В классе между девушками случались ссоры насчет того, какую мужскую гимназию пригласить; девушки с первых парт кричали: «Коперника», — а с задних: «Пилсудского».

— Но это были времена нужды, заурядной бедности. А для вашего поколения бедность не была проблемой?

— Мы были очень веселыми, и лишь сегодня я замечаю, что материальные условия были трудными. Тогда они казались нормой. Вообще, материальные соображения как категория для нас не существовали, потому что на наших глазах все богачи потеряли всё. Мы росли и взрослели во время войны, когда нечего было есть, и тот факт, что теперь у нас есть что есть, что мы ходим в нормальную школу, где существует звонок и пани директор, что впереди — какие-то перспективы, что можно достать цветной свитерок, — всё это приводило к тому, что нам уже было весело. Разумеется, мы видели, к примеру, различия между Лодзью и Варшавой. Варшава была сожжена, а выселенные лодзяне возвращались в свои дома, из которых,

надо признать, убежавшие немцы ничего не забрали. Если где-то был довоенный патефон с пластинками, то эти пластинки и патефон там же и остались. Варшавские погорельцы или репатрианты с восточных кресов как правило ничего не спасли. Многие жили в проходных комнатах, перегороженных шкафом, а если кому-нибудь удавалось снять отдельную комнату, то это была большая радость. Когда человек носил воду из колодца, а потом ему ставили кран в коридоре, он чувствовал себя ошарашенным. В будни мы ходили в одних и тех же латаных-перелатанных одежках, но каждое новое платье доставляло нам пронзительную радость. С 1945 по 1949 год условия постоянно улучшались, каждый год понемножку. Помню, мать покупала шерсть, эту шерсть ткали, делали из нее материю и лишь тогда отдавали портнихе, потому что так получалось дешевле. А потом я появлялась в школе в новом пальто, совершенно счастливая, что оно у меня есть. Война показала нам, что материальные блага ничего не значат. Всё, что хоть что-то значит, — у нас в душе.

— Когда вы начали понимать, что делается вокруг?

— Я и подавляющее большинство моего окружения всё понимали с самого начала. Тогдашние опасения, что мы, возможно, окажемся семнадцатой республикой, что может разразиться третья мировая война, — это всё висело в воздухе, однако еще в 1947 г. нас не покидали большие надежды, так как ситуация была неясной. Мы еще ожидали победы Миколайчика или что будет достигнут какой-то компромисс Запада с СССР и что Запад нас до конца не оставит. Переломом стал арест Гомулки и объединение ППР с ППС. Наступили времена сталинизма. Крупное изменение, только не в нашем сознании, а в реалиях жизни.

— Война, сталинизм... А были ли у вас планы на будущее, мечты?

— Когда в 1949 г. упразднили социологию, мы, студенты, как и наши преподаватели, не знали, что случится: то ли всего лишь не будет набора, то ли и мы не получим дипломов. Ждали мы самого худшего. Вместе с товарищами с разных факультетов, которые не могли получить работу, мы учредили союз самоубийц. Сидели на чердаке одного дома под Лодзью и выступали с докладами о самоубийствах. Приятельница с химфака достала нам цианистый калий, который каждый носил при себе, и нам предстояло решить, совершаем ли мы самоубийство или же продолжаем жить в этой действительности, причем нечестно, потому что иначе нельзя. Закончилось это трагически. Двое наших товарищей были не в

состоянии найти хоть какую-нибудь работу: везде следом за ними шел волчий билет. Они жили на нашем иждивении и без всяких перспектив — мы их подкармливали, хотя часто не было чем. Они покончили с собой. Мы пришли на чердак, а они уже были мертвы, оставили нам письмо.

— Вам было тогда 20 лет, им тоже — но они уже потеряли надежду.

— Наступил такой период, когда надо было просто выжить, как во время войны. Придумать свое место в этой действительности, чтобы как-то существовать. Из Лодзи я перебралась к родителям во Вроцлав. И придумала себе — другой формы бегства не было, — что стану преподавателем статистики. Преподавательскую работу я любила, а статистика казалась мне предметом аполитичным. Каково же было мое удивление, когда в статистическом техникуме мне вручили программу, а там: 6 часов — Ленин и статистика, 6 часов — Сталин и статистика, и еще 6 — о роли статистики в выполнении шестилетнего плана. Пришлось придумывать, что с этим сделать, как справиться, но в конечном итоге меня все равно выгнали с характеристикой классового врага. Я нашла себе два места: в училище, подчиненном министерству внутренней торговли, и в финансовом техникуме, но через год меня и оттуда вытурили. И тогда мне помогла моя коллега Ирена Каменская, первый секретарь парткома, — она дала мне очень хорошую характеристику. А когда ее подозрительные товарищи по партии допытывались насчет содержания этой характеристики, Ирена отвечала: «Что же это за недоверие к первому секретарю?» И этого оказывалось достаточно. Я получила четвертый шанс — работу в техникуме внешней торговли в Варшаве.

— Многие люди из вашего поколения говорят, что коммунистические идеи их соблазнили. А вас — нет?

— Я всегда была рационалисткой, а идеология коммунизма в те времена звучала так нерационально, как религия средневековья. В моей книге «Прерванный полет» я описываю разные типы людей, которые были «непромокаемы» для коммунизма. Им важнее всего была личная свобода, индивидуальность, рациональное мышление. Но среди моих однокурсников были коммунисты. Часто это были люди умные, благородные — вроде той моей подруги, очень хорошего человека, с которой, кстати, я дружу по сей день. Благодаря таким людям, как она, такие, как я, могли в те страшные времена выжить. Когда во Вроцлаве меня вышвырнули из третьего учебного заведения, она поехала со мной в Варшаву.

Оказалось, что в Центральном управлении профессионального обучения уже лежало письмо из вроцлавской инспекции о том, что мне надлежит полностью запретить преподавание.

— Профессиональный смертный приговор?

— Да. И тогда Ирена, красивая девушка, очень нравиваяся мужчинам, битых два часа разговаривала с директором центра профессионального обучения, который в конце концов согласился — за совместный поход на танцплощадку — положить это письмо под сукно и сказал: «Но только пусть она не возвращается во Вроцлав, а постарается найти работу в Варшаве». В тот вечер Ирена вместе с этим большим человеком, принимающим большие решения, отправилась на танцы, а на другой день принялась искать мне работу. В Варшаве у нее была масса знакомств, она вспомнила, что один ее давний поклонник стал кем-то важным в министерстве внешней торговли. В итоге она назначила с этим Тадиком свидание, чтобы потолковать, и организовала мне место в министерском техникуме. За такую услугу ей пришлось поехать с ним на две недели в Криницу, но при этом она мне сказала: «Я выговорила отдельные комнаты — роман с Тадиком я не стану крутить даже ради тебя, но поскучать с ним парочку недель готова».

— Великолепная подруга! А вы видите различия между своим поколением и сегодняшней молодежью?

— Я сильнее отличалась от той молодежи, которая всю свою жизнь сформировала в ПНР, чем от нынешней. Сегодня молодежь вынуждена думать, как зарабатывать, как себя обеспечить, как продержаться. Собственно говоря, они — немного похоже на нас в послевоенные времена, — не мыслят в долгосрочной перспективе, считая, что всё меняется. Банки терпят банкротство, фирмы закрываются или преобразовываются, профессии, только что очень модные и нужные, внезапно теряют престиж, а молодежь теряет рабочие места. Но что особенно характерно нынче для молодежи, так это случайность судьбы. Им хотелось бы путешествовать по заграницам, иметь свой дом, лучше всего — в деревне неподалеку от большого города, хотелось бы забираться в горы, ходить под парусом, но знают, что в любую минуту могут потерять работу и очутиться на дне. Поляки уже прошли в последнем двадцатилетии через нечто вроде спада и помнят об этом, а потому задумываются, как им устроиться сегодня. Идут на работу и учатся заочно или же поступают на дневное обучение, подрабатывая внештатно.

— И чувствуют себя неудовлетворенными?

— Перед лицом подобной случайности судьбы одни стремятся всё делать про запас. Загружают в голову как можно больше знаний, получают дипломы по нескольким специальностям, проходят последипломное обучение, потому что это может пригодиться. Другие же — не перетруждаются. Кончают какой-нибудь вуз, зачастую самый дешевый, так как предпринимателю пока не особо важно, где человек получил диплом. Рынок часто отдает предпочтение тем, кто начинает с второстепенных работ по договору, а потом постепенно делает карьеру, так как фирмы склонны делать менеджеров из собственных, проверенных сотрудников. Короче говоря, часть молодежи сверхамбициозна, а другая — всего лишь помаленьку сдает испытания, ибо уверена, что успех зависит главным образом от случая, неожиданного знакомства, встречи на улице с приятелем, который вдруг говорит: «Послушай, в фирме открылась вакансия, может, попробуешь?» — ну и такие не больно напрягаются. Дожидаются своего шанса.

— А семья?

— Мы, мое поколение, были детьми родителей таких времен, когда брак считался нерасторжимым. До войны браки бывали только церковными; чтобы сменить супруга, требовалось сменить веру. И браки редко распадались. Мало того, коль скоро было известно, что они должны сохраняться, то супруги устраивали свою совместную жизнь и взаимоотношения таким образом, чтобы дети — даже во время войны — не заметили трещин в родительском союзе. И, значит, мы могли верить, что супружество — это на всю жизнь, что в его основе лежит настоящая любовь, которая никогда не кончается. Поэтому мы так беспорядочно заводили собственные семьи. Жили по студенческим общежитиям, рождалось много детей, носили их в ясли. Было тесно, нередко муж жил у своих родителей, а жена — у своих, так как ни у кого из них не было места, чтобы поселиться вместе. И всё-таки мы выходили замуж и женились, веря, что это большая любовь. Между тем в подобных условиях большая любовь быстро угасала. На первом курсе играли на свадьбу, а на последний иногда уже приходили разведенными. Сегодня молодежь тоже верит в большую любовь и очень хочет испытать ее в жизни. Но о семье думает более реалистично.

— Больше боятся?

— Да, потому что сами они обычно дети разведенных, но хотели бы завести семью без развода, навсегда, на всю жизнь.

Так же, как и мы, — но у них нет той веры, которая была у нас. У них есть картина идеальной жизни, но есть и сознание тех препятствий, которые могут всё уничтожить. До войны мужчина «создавал условия» женщине: он обязан был обладать надежной профессией. Девушка могла поступить учиться, а могла и не поступать. Теперь и у женщин, и у мужчин одни и те же установки. В первую очередь выполнить минимальные условия: получить образование, работу, кредитоспособность, квартиру. Только потом они задумываются о вступлении в брак. Они знают, что пока что должны устроиться, а идеальная жизнь когда-нибудь им удастся либо не удастся. У них сильно развиты представления о всевозможных жизненных препятствиях.

— Но вы ведь тоже поздно вышли замуж.

— Я была исключением. Мне было уже 35 лет. С мужем мы сначала подружились, потом стали вместе жить и в конце концов вступили в брак. Тогда это было оригинально — сегодня это норма. Молодежь так сейчас и поступает.

— Что для них важно?

— Дружба. В системе их ценностей она стоит на первом месте, за ней — любовь, а потом, представьте себе, нравственность. Жить так, чтобы оба могли смотреть друг другу в глаза. На четвертом месте — семья, а деньги — далеко, где-то на 10-12-м месте. Молодежь завидует той дружбе на всю жизнь, которая была у их родителей, у дедов и бабушек. У людей, выраставших в ПНР, такая дружба была и сохраняется. Сегодняшняя молодежь может рассчитывать только на одного-двух друзей, да и это распадается. Не вследствие конфликтов, а очень просто: сколько времени люди вместе учатся или работают, столько и продолжается их дружба. А потом, когда они переходят на новое место, у них как-то не хватает времени и сил, чтобы об этой дружбе позаботиться. Они от этого страдают, но чувствуют себя беспомощными. Считают, что таковы законы современной жизни.

— А вы, пани профессор, в чем-то им завидуете? Может, в том, что у них лучшие материальные условия, большее благосостояние? Вы же были этого лишены.

— Нет, потому что я не люблю бизнес, не люблю деньги, не люблю морочить себе этим голову. Мы с мужем 44 года живем в одной и той же маленькой квартире возле Театральной площади, 49 квадратных метров, где мы занимаемся своей научной работой, и нам это никогда не мешало. Конечно,

теперь я даже неплохо зарабатываю. Так уж сложилось, что я профессор, а на профессоров существует постоянный спрос, и у них имеются возможности подрабатывать. У меня есть пенсия, работа в Высшей школе социальной психологии, работа в университете, и я радуюсь этим деньгам только потому, что могу помочь дочери и внукам. При этом я обеспечена на случай болезни и инвалидности. Мы с мужем можем лечиться частным образом и нанять медсестру в случае тяжелой болезни. А самое главное, что с 1989 г. я наконец-то могу заниматься наукой так, как мне того всегда хотелось.

— **Что вам меньше всего нравится в нынешних временах?**

— Я человек нетребовательный. Не люблю думать ни о бытовых вещах, ни о повседневной жизни. И мне не нравится, когда на меня давят, чтобы с утра до ночи думать только о себе. Выбриты ли у тебя подмышки, есть ли у тебя тот или иной крем, занимаешься ли ты гимнастикой, наверное ходишь в тренажерный зал, какой холодильник ты себе купила? В эпоху культа потребления, а отчасти под воздействием телевидения и глянцевого журналов всё это стало общеобязательным, что меня раздражает. «Займись о себе, думай о себе». А я терпеть не могу думать о себе и хочу, чтобы у меня это занимало как можно меньше времени. Всю одежду покупаю у себя подворотне, в маленькой лавочке в двух шагах от дома, по магазинам вообще не хожу — ну, разве что надо купить сапоги, в нашей подворотне их не продают. Но сегодняшний мир вызывает у меня скорее тревогу. Цивилизационные изменения, процессы глобализации, переход от социализма к капитализму, постоянное отсутствие экономической стабильности и кризисы, через которые мы сейчас проходим, приводят к тому, что я со страхом думаю о мире, в котором предстоит жить молодежи. Зачастую не они решают, какова будет их жизнь. Зато, если говорить о них самих, то мне нравится нынешняя молодежь. Она, мне кажется, открытая, думающая, непосредственная, естественная, и не поглощена ложью и лицемерием.

— **Жалете ли вы о чем-либо?**

— В жизни? (пауза) Нет, пожалуй, нет.

— **А вы никогда не думали, что ваша жизнь могла пойти иначе?**

— Ну да, я всегда жалела, что Польша очутилась в орбите СССР, и завидовала французам, бельгийцам, англичанам, что они были от этого избавлены. Я очень плохо чувствовала себя при

коммунизме, но если б уехала, скажем во Францию, то стала бы там чужой, иностранкой, а я не хотела оказаться в положении эмигрантки. Меня интересовала Польша, поляки, страна, которую я хорошо знала. Во времена сталинизма, когда социологию ликвидировали, я сделала больше всего записей о повседневной жизни. Ходила по Варшаве, по кофейням, по рабочим общежитиям, подолгу просиживала на вокзале, иногда даже по ночам, и слушала, что говорят люди. Я считала себя частным социологом. Мои амбиции сводились к тому, что даже тогда я хотела делать то, что мне нравится. Многие годы я писала «в стол». И мой «стол» был забит материалами, из которых после 1989 г. смогли возникнуть книги. Я никогда не испытывала честолюбивого желания стать кем-то великим — хотела только, чтобы внутренне жилось интересно. И это у меня получилось. Сегодня мне было бы в этом смысле легче, так как, невзирая на давление всяких мод, человек может выбрать свой стиль жизни. Помимо умственного труда, я могла бы действовать в общественной сфере, что было невозможным в казарменно организованной жизни, присущей коммунизму. Свобода выбора, которая теперь все-таки имеется, — это для меня большая ценность (пауза). Есть еще кое-что, о чем я жалею, — что у меня только одна дочь, а больше детей не было. На тех сорока с чем-то метрах мы не могли завести большую семью, тем более что оба работаем дома. Но этого мне жаль, хотелось иметь много детей — четверых-пятерых, как можно больше.

Беседу вела Беата Новицкая

*

* *

Проф. Ханна Свида-Земба — социолог и педагог. Преподает в Варшавском университете и в Высшей школе общественной психологии. В 1991-1993 гг. — судья Государственного трибунала. Автор ряда книг, в т.ч. «Человек внутренне поработанный», «Прерванный полет» (в которых она анализировала позиции и взгляды поляков по отношению к сталинизму), «Молодежь в новом мире», «Экзистенциальные ценности молодежи 90-х годов». Многие ее книги возникли на основании записей, делавшихся в сталинские времена; сейчас она работает над книгой о поколении молодежи ПНР. Ее называют антифеминисткой, так как, по ее словам, нетерпимость она испытывала в первую очередь со стороны женщин, которые всегда ее критиковали и пытались заставить стать «настоящей женщиной». Жена профессора логики Здислава А. Зембы, у них дочь Иоанна и трое внуков.

Ян Польковский

СТИХОТВОРЕНИЯ

Смешение языков

Смешение языков, украинского, польского, русского.
Всеобщая молитва по-польски, псалом по-украински,
по-русски кредо. Рыжий парень, паулин,
глазах,
с искрами радости в горящих раскрывшейся жизнью
воздевает руки в храме,
что ещё недавно был музеем атеизма.
Начало XXI века. Каменец-Подольский отдыхает,
окутанный дымкой седого известняка и небом
прозрачного тосканского цвета. Ленивый, разогретый
живым
сиянием Смотрич не хочет нести свои воды к Днестру,
он парит зеленоватым облаком над ищущей тени
кобылой и жеребёнком.
Бедные люди за длинным столом делят сладкую булку.
Среди них на почётном месте — дни, о которых им не
хочется помнить.
Бедные люди и их задумчивые дети со взрослыми
лицами.
Сегодня они просили о многом. О здравии Юзефы,
о счастье Ирины и Григория.
А ещё молились о возвращении Франции, Первой
Дочери,
к Римской Матери. Прежде чем проститься, они
благодарят

за совместное пение и бережно собирают крошки.

* * *

В аду и в небе жёсткие, серые дороги,
сожжённые рукописи, прах развеянных слов.

Во сне и в молчании нет ни тайны,
ни письмён, толпа молча ждёт.

В крови и в молитве любовное забытьё,
непрестанное ожидание, замкнутое время.

В глубине и в изгнании, на дальней земле,
нагие фигуры осуждённых на вечные муки мерцают,
как города.

Чернозём

М.В.

Во время паломничества их любовь питали
недвижные воды

Днестра, этой реки без истоков и устья, реки без
границ

в пограничной стране, открытой, как низовая мгла,
лежащая в топкой пойме.

Цвета питали их сердца, проникали в их кожу,
слюну, желудки и печень:

сине-зелёный космос равнины вокруг Подгорцев,
стадо гусей,

коринфские колонны, вырастающие в лугах среди
покосившихся лачуг,

червонно-золотое григорианское пение гниющего
мусора и щебня

заполнившее до свода доминиканские кельи

в белом, словно дух Гамлета, Каменце-Подольском.
Серело, забыв о своём дыхании, пространство,
которого не охватит ни строфа поэта-пророка, ни
молитва,
ни проклятье,
бессильно чернели бесконечные
голодные нивы несжатого ячменя и ржи,
в темноте смутно маячил выцветший силуэт
мужчины,
влекущего через пустошь порожнюю деревянную
тачку.

А над сердечной излучиной горизонта
сверкал всеми красками поднебесный хоровод
бессмертных детей
Волыни и Подолья,
танцующих в компании жаворонков, кузнечиков и
шмелей.

Туманы, жнивье
Землю, вне всяких сомнений плоскую,
ограничивает лишь малиновая киноварь заиндевелых
облаков

да отдалённая литания океана.

Поезд бездвижно застыл среди невнятного пения
молодых лесов Мазовии.

В его замерших недрах колеблются только веки
спящей женщины. Ни миндальные ладони, ни
прозрачная кожа

не могут заслонить сердца нерождённых детей,
которые плотно заполняют её тело.

Я просыпаюсь с сердечной болью моих детей.

Вокруг монотонное дыхание пассажиров. Их восковые
фигуры

тускнеют, маячат в коридорах, в купе, исчезают

в тени рядом с железнодорожной насыпью.

Мы никогда не поедem дальше,

ни в город В., ни куда-то ещё.

Поезд заносит — серым снегом? песком?

Земля померкла, покрылась дрожащим пеплом.

Исступлённо, яростно она обрушивается вглубь себя,

превращаясь в ветер, в глухой свист

проводов высокого напряжения, в сон тяжёлого

дыма, в рыданье запертых вокзалов.

Да, я чужой

Рука палача на миг застынет,

тюрьмы превратятся в санатории,

зоны в заповедники,

сдвинутся на миг границы государств,

вернутся народы на реки свои,

города поменяют названия,

конституции — текст,

люди — имена и лица,

языки — поэтов,

солдаты на миг вонзят карабины штыками в землю,

полицейские выйдут на демонстрацию против
насилия,

слезоточивый газ рассеется,

поднимется железный занавес,
— чтоб в этот миг ослепительной тишины
ты мог окинуть взглядом всю свою жизнь,
короткую, честную жизнь — затяжной
выстрел
в затылок.

СМЕШЕНИЕ ЯЗЫКОВ

Один из самых интересных текстов в последней книге Яна Польковского — стихотворение «Смешение языков», описывающее встречу в Каменце-Подольском:

Смешение языков, украинского, польского, русского.

Общая молитва по-польски, псалом по-украински,
по-русски Верую.

Это своего рода узел истории, но и вызов будущему. Не первый вызов в поэзии Польковского — достаточно вспомнить хотя бы стихотворение «Царские врата», написанное в 80-х годах и посвященное Анатолию Марченко.

Польковский родился в 1953 году. Этот поэт по-своему продолжает течение гражданской поэзии, представленное его собратьями из «поколения 68-го года» (они были чуть старше), однако гражданственность, так же как в творчестве его ровесника Бронислава Мая, у него лирически преобразована. Польковский дебютировал в 1978 г. на страницах первого в Польше подпольного литературного журнала «Запис». Он создатель действовавшего в Кракове в конце 70-х независимого от цензуры издательства «АВС», где — после дебютного сборника «Это не поэзия» (1980) — опубликовал книгу «Дыши глубже». Лауреат премии Фонда имени Костельских в Женеве (1983). Последней книгой его стихов до недавнего времени были «Элегии Тымовских гор» (1990). Работал журналистом, в 1992 г. был пресс-секретарем правительства Польши, возглавляемого Яном Ольшевским.

Книга «Cantus» вышла после очень долгого периода молчания. Она, без сомнения, подтверждает, что краковский поэт находится в хорошей форме. Это поэзия высокого регистра (за такую ратует Адам Загаевский), поэзия, имеющая подтвержденную названием книги классическую родословную, сильно отрефлектированная, умиротворенная, открытая голосам других, в особенности русских, поэтов (что было заметно уже в ранних стихах, хотя бы в обращениях к Мандельштаму). Это видно и по включенным в книгу переводам-парафразам из Тютчева, Бунина, Айги.

В прекрасном, посвященном матери заглавном стихотворении книги мы видим попытку понять позицию женщины, которая когда-то, в 1950 году, решилась «сказать „да” репатрианту из уральских лесов», женщины глубоко верующей и при этом погруженной в молчание, что сильно врезалось в память поэта:

Глубже всего скрыто молчание.

Теперь я знаю: в нём таилась

боль. Та тревожно-чуждая тишина,

те зелёные, косые глаза и скулы,

что утонули в округлившемся с годами лице,

могли быть эхом суровых степей, кочующих

в её крови, и плоских, непроницаемых лиц татарских

пленных, осевших в пригороде Ченстоховы в XIV веке.

Жизнь вырастает из истории и снова вырастает в нее. Осознание такого порядка вещей позволяет сохранять слегка ироническую, полную раздумья дистанцию по отношению к миру. Медитативное постижение тайны бытия, без сомнения, составляет величайшую ценность этой замечательной, бережной к деталям, отлично выстроенной лирики.

ПОЛЬСКАЯ СИБИРЬ — МИФЫ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ

Много лет тому назад — в 70-е и 80-е гг. прошлого столетия — мы с Ренэ встречались в Москве (и в Варшаве) с писателем Сергеем Залыгиным, автором нашумевшего тогда романа «На Иртыше». Он был коренным сибиряком, о Сибири писал и однажды с горечью нам сказал о своей боли: что его родной край, его большая «малая родина» связана со всякого рода ужасами и с ними ее прежде всего ассоциируют, забывая о ее необыкновенной красоте, неизмеримых богатствах, о населении, с открытой душой принимавшем всех чужих, инородцев, в том числе и поляков. В этом мы имели возможность убедиться, путешествуя в 90-е годы по Сибири в поисках материалов о польских политических ссыльных XIX века. Но всё же в общественном сознании поляков — да и не только их — слова «Сибирь», «сибирская каторга» звучат злоеце, что так печаливало Залыгина. Ведь даже в популярной русской песне за словами «Я Сибири не страшуся, Сибирь ведь тоже русская земля...» таится повсеместное чувство страха, которое надо превозмочь!

В литературе: в стихах, драмах и романах, — а также в живописных полотнах, которые чаще всего появляются как иллюстрации польской ссылки, на первый план неизменно проступает мотив ужаса: он преобладает в произведениях сибирского ссыльного Сохачевского и никогда не выдавшего Сибири Яцека Мальчевского. Все они создавали миф Сибири с его символом — трудящимся в рудниках, прикованным к тачке каторжником. Тем временем реальная жизнь каторжников и поселенцев была далека от господствующих о ней представлений. И об этом я хочу вам сегодня рассказать.

Как известно, по крайней мере на протяжении четырех столетий, особенно в период после разделов Речи Посполитой, Сибирь не была для поляков понятием сугубо географическим, хотя, конечно, географическую Сибирь охватывала. Она была по существу суммой испытаний, которые стали уделом польских ссыльных на огромных пространствах Российской Империи как до Урала, так и за ним. Сибирскими ссыльными считались и прибывавшие в Архангельскую и Пермскую губернии — всюду, где было очень холодно, равно как в киргизские степи или на

территории, занимаемые всеми тремя отдельными корпусами, — не только Сибирским, но и Оренбургским и даже Кавказским. Не случайно и в межвоенный период, во Второй Речи Посполитой, и ныне, после II Мировой войны, к Союзу сибиряков принадлежали и принадлежат все побывавшие на каторге и в ссылке (а в XX веке — в ссылке, на поселении и в лагерях), независимо от того, были ли они в настоящей Сибири или на Дальнем Севере, в степях Казахстана или в пустынном Узбекистане.

Вот несколько примеров из прошлого.

Самуэль Пешке, взятый в плен во время наполеоновской кампании 1812 г., провел зиму этого года в Саратовской губернии, однако был убежден, что находится в Сибири, и сетовал на жуткий мороз и надоедливые «сибирские ветры». Когда в Кракове в 1857 г. был опубликован список пребывающих в Вятке польских офицеров — участников восстания 1830 г., то ему дали следующее название: «Список сосланных в Сибирь, а именно в Вятскую губернию, участников восстания 1831/1832, пребывавших там в 1832 году». И никого это не удивило. Сведения о том, где и в каких условиях находились «польские бунтовщики», долгое время были совершенно неизвестными. Утверждалась «черная легенда» Сибири, той Сибири, в которой пребывали поляки начиная с XVI века, с военных времен Стефана Батория, потом барские конфедераты, участники очередных восстаний: Тадеуша Костюшко 1794 г., 1830 г., 1831–1832, 1863–1864, заговоров и тайных кружков 1833–1862 гг. Год за годом представители очередных поколений уходили в тот же путь — на восток...

За исключением 1815–1832 годов, времен «Королевства Конгрессового», когда, согласно конституции 1815 года, утвержденной Александром I, русским императором и польским королем одновременно, граждане этого Королевства все наказания отбывали на его территории, и только польские «преступники» из так называемых западных губернии — Гродненской, Ковенской и Виленской — шли в Сибирь.

За что и на какие сроки они принуждены были покидать свои родные места и куда их отправляли?

Самым крупным преступлением было участие в восстании, то есть в «бунте» или «революции» по тогдашней терминологии; причем не обязательно на землях Российской империи; строго наказывалось участие в событиях «весны народов» 1848–1849 гг., особенно в венгерском восстании, и вообще «побег за границу», связи с польской эмиграцией, привоз и

распространение эмигрантских изданий, в том числе напечатанных там произведений Мицкевича; члены небольших кружков, в которых читалась «запрещенная литература», обычно знакомились с Сибирью по суду, чаще всего военному, или высылались административным путем. К ссылке приговаривали молодых людей даже за «намерение» бежать или присоединиться к восставшим; их родных — за оказание помощи «бунтовщикам» (предоставление крыши, еды, одежды и т.п.), а также за «недонесение» (в архивах можно встретить такое, например, обоснование приговора: отец не сообщил местным властям, что его сын ушел в отряд повстанцев). Не прощалось пьяному, неприлично выразившемуся о Его Императорском Величестве и вообще вызывавшему подозрение в «нетрезвом образе жизни» и «склонности к скандалам». Ссылка могла тоже носить превентивный характер: за так называемую «неблагонадежность» высылались с места жительства «до успокоения края» — и за «бродяжничество»: бродяга мог ведь оказаться пребывавшим в розыске дезертиром или иным «неблагонадежным». Случалось даже, что «непослушных сыновей» ссылали по просьбе отца или матери, которым их отпрыски изрядно надоели (но это было редкостью). Никто не знал истинной причины их пребывания в ссылке, и они считались политическими узниками...

Среди наказаний, предусмотренных в своде законов, самыми тяжелыми считались каторжные работы в рудниках, потом — на заводах и в крепостях, на определенное время или «навечно». Значительно более легким — по сравнению с каторгой — наказанием было поселение в местах «более или менее отдаленных», в Сибири или в одной из четырнадцати внутренних губернии. Арестантские роты с их принудительными работами предназначались главным образом для не-дворян, то есть для представителей крестьянского или мещанского сословия. После отбытия срока на каторге или в арестантских ротах ссыльных отправляли на поселение: сначала в Сибирь, а потом уже во внутренние губернии империи. Нужно еще вспомнить о таких наказаниях, как жительство (под него подпадали те, кто сумел доказать свое дворянское происхождение) и водворение (предназначенное для провинившихся крестьян) ^[1].

Вопреки этой классификации и общему мнению, в первой половине XIX века самым тяжелым наказанием была военная служба (минимум 15 лет!), где смертность была самой высокой, прежде всего из-за повсеместных эпидемий, а условия жизни нередко невыносимы, так же как часто применяемые телесные

наказания — «прогон сквозь строй». Во второй половине XIX столетия наибольшее распространение получает водворение — прежде всего ради колонизации Сибири. Как правило польских переселенцев не касались амнистии, применявшиеся ко всем другим категориям. Переселенцы со своими семьями оставались пожизненно в Сибири, прежде всего Западной (в Томской губернии). Их потомков мы встречали и в нынешнее время.

Военная служба в Оренбургском и Кавказском корпусах предполагала участие в покорении новых территорий и их населения, часто жестоко сопротивлявшегося. Эта служба имела амбивалентный — весьма противоречивый — характер: с одной стороны, здесь легче было получить аванс, ордена и звания, а дослужившись до ранга офицера — выйти в отставку и вернуться на родину. Об этой сложной ситуации писали многие мемуаристы; некоторых служба в корпусах доводила до самоубийства, иные сходили с ума. О причинах говорят неопубликованные письма одного из польских «кавказцев», бывшего студента Киевского университета Владислав Юрковского (1817-1875), которые он писал после боя. Вот характерный отрывок: «Крик, стоны, выстрелы слышались отовсюду, всех пронизывал панический страх, мне казалось, что наступил конец света». И поражающий финал этого боя: «Пули, гранаты, картечь разваливают стены саклей, жители просыпаются в тревоге; они еле успевали выбежать с оружием, оседлать коней, а уже казаки влетели во двор, пехота окружила аул. Горцы, предвидя свою гибель, бросились с яростью как тигры: каждый из них погибает в отчаянии, но с чувством, что не зря, если убил хотя бы одного врага. Схватились с собой бешено обе стороны. (...) Женщины, до сих пор безучастные, тоже взяли за оружие. (...) Бежит через двор редкая у черкесов красавица, чудесная блондинка (...) но не добежала; схватил ее казак (донец) за волосы, длинные, густые, прекрасные, и с ней побежал к отряду. (...) Еле к вечеру закончилась схватка. Когда я присматривался к чудесным волосам четырнадцатилетней раненой узницы, к бледным щекам прекрасной блондинки и целой толпе пленников, радостный солдат гордо поднял руки вверх, держа в них две головы горцев — одна принадлежала отцу узденки [то есть дочери вождя] — сама черноглазая об этом с плачем простонала» (как отмечает он в своих письмах, бои, в которых пришлось участвовать ему и другим полякам из возглавляемого Шимоном Конарским Союза польского народа, ставившего в заголовке своих программных документов слова-лозунги «За нашу и вашу свободу», «С народом и через народ», — эти бои шли в районе Грозного).

То же самое происходило на так называемой Оренбургской линии; чтобы получить «яса́к» — обязательную дань от степных жителей, — не обходилось без насилия: сжигались киргизские аулы, гибли их жители. Об этом писал в своем дневнике униатский ксендз Ян Генрих Сероцинский, официально служивший рядовым в русской армии за участие в восстании 1831 года. В действительности, будучи преподавателем Омского войскового казачьего училища, он давал уроки сыну директора, который стал его защитником. Но даже директор не смог уберечь Сероцинского от страшного наказания за участие в так называемом омском заговоре 1833 года. Вместе с товарищами, мечтавшими о побеге через Бухару в Китай и дальше в Европу, он был арестован, после длительного следствия осужден в январе 1837 г. на 6 тысяч палочных ударов и умер во время экзекуции в Омской крепости в марте того же года, вместе с четырьмя обвиненными солдатами. 12 осужденных пережили это ужасное наказание, утвержденное самим императором Николаем I. Омский заговор — это одна из самых потрясающих страниц в истории польской ссылки первой половины XIX столетия.

Совсем по-другому складывалась жизнь польских каторжников и ссыльных в Восточной и Западной Сибири. Тут даже рядовые солдаты получали льготы: им разрешали жить на частных квартирах, зарабатывать на жизнь уроками, а некоторые даже не носили солдатских шинелей. Всё, конечно, зависело от командира.

В Омской крепости над поляками издевался Васька Кривцов, описанный в «Записках из Мертвого дома» Достоевского, а также в воспоминаниях Шимона Токажевского.

Но уже Роман Сангушко (1800–1881), которому Николай I заменил каторгу военной службой, жил весьма привольно. В то же время царь приказал отправить этого видного аристократа в Тобольск пешим этапом за то, что он отказался назвать истинную причину своего участия в восстании 1831 г. — смерть любимой жены и тоску по ней — и заявил, что присоединился «по убеждению», вполне сознательно, как истинный поляк. Роман Сангушко жил в трехкомнатной квартире, держал лошадей и охотился в местных лесах, получал регулярную помощь из дома, еду и деньги, благодаря чему мог оказывать помощь многим тобольским ссыльным. Большую роль в этом играли связи его родных с русской аристократией и придворными кругами в Петербурге. Однако, чтобы быстрее вернуться в свое имение, он уже в 1834 г. ходатайствовал о переводе на Кавказ; там за храбрость он получил в 1838 г. орден

св. Станислава, а в 1845 г., после отставки в ранге поручика, покинул Кавказ и вернулся в родную Славуту, оставшись после нескольких ранений совершенно глухим...

Большинство польских каторжников и ссыльных XIX века хуже всего вспоминало дорогу в Сибирь. Грязные этапы и полуэтапы, полные насекомых, гул проклятий и оргии уголовников — муже-, жено- и детоубийц, хваставшихся своими преступлениями; примитивные, вечно пьяные этапные офицеры и солдаты, и т.д., и т.п. Потом, на месте, всё оказывалось далеко не таким страшным, как предполагалось, по сравнению с пережитым в пути.

В большинстве случаев польские каторжники не отбывали предназначенного им наказания — разве что только в самые первые дни, о чем пишут все мемуаристы. Для выполнения каторжных работ, таких как, например, в Иркутском соляном заводе — хорошо известном Усолье — или в нерчинских и других рудниках, хватало уголовников и вольнонаемных рабочих. По всей Сибири и зажиточные купцы, и представители местной администрации нуждались в хороших врачах, учителях, способных подготовить их чад в гимназию или высшее учебное заведение, о которых на местах можно было только мечтать, а также в воспитателях, способных обучать дочерей и музыке, и танцам, и живописи; и, наконец, со временем — в честных и опытных администраторах золотых приисков. Вопреки запретам, ссыльных поляков охотно брали на работу в канцелярии («для письма» по тогдашней терминологии) — для разбора приходящих бумаг и ответа на всяческие запросы. В официальных документах все они фигурировали, конечно, как строго выполнявшие предназначенные им по приговору наказания. Для них были специально заказанные на заводах Демидова, легко снимавшиеся кандалы — на случай приезда ревизора. До столиц было тогда далеко, и всё по сути дела зависело от местных чиновников, начиная с генерал-губернатора и кончая самым мелким чинушей или полицмейстером.

Вот несколько наиболее ярких примеров.

В Иркутске во второй четверти XIX века в канцелярии гражданского губернатора за приходившие к ссыльным письма и передачи отвечал некий Ярин — мошенник и вор. Когда его уволили и на это место пришел честный чиновник, дело совершенно изменилось: перестали пропадать письма и деньги. Но радость продолжалась недолго — хороший чиновник получил другое назначение, предполагавшее более высокий заработок. Тогда, чтобы удержать чиновника на старом месте,

иркутские ссыльные — поляки из организации Конарского и декабристы — решили собирать деньги, чтобы возмещать ему разницу, лишь бы он остался на прежнем посту. Как постановлено, так и сделано.

Трудно поверить в то, что каторжник, доктор Бопрэ из Кременца, имел за Байкалом около Большого Нерчинского завода крупное хозяйство, в котором работал другой каторжник — батрак Бальцер Сусло, член Демократического союза ксендза Петра Сцегенного: там он исполнял часть назначенного судом наказания (10 лет каторги в рудниках). И не только он. Когда во время полевых работ не хватало рабочих рук, Антоний Бопрэ нанимал роту солдат и платил в казну и за работу «своих», и за работу солдат всё, что полагалось. Обо всём этом мы узнаём из сохранившихся книг, в которых отмечались все приходы и расходы этого великолепного предприятия — и ведро водки на праздники, и взятка полицмейстеру, земляника и сметана к очередному празднику. Бопрэ записывал скрупулезно всё, что брал для себя, — на сигареты, конверты и т.п. В его Польском доме обедали одинокие забайкальские ссыльные: кто мог — платил, у кого не хватало денег — обедал бесплатно.

Конарщики — члены Союза польского народа из Царства Польского, с Волыни и Подолья, из Вильна (Вильнюса) и Дерпта (Тарту) — были группой, связанной дружескими и родственными узами, они помогали друг другу и остальным товарищам по ссылке. Они великолепно организовались в так называемые «огулы» («общаки»), на что местные власти смотрели сквозь пальцы. Благодаря помощи Комитета опеки, созданного двумя аристократками, Ксаверой Грохольской и Розой Собанской, названной «Розой Сибири», они получали и одежду, и продовольствие, и деньги, и книги. А самое главное — письма!

Огулы — иркутский и забайкальский — имели свои правила (уставы): сколько надо отдавать из полученных и заработанных денег в общую кассу, как себя вести по отношению к представителям власти; категорически запрещалось злоупотреблять алкогольными напитками и азартными играми. За это исключали из организации. Не одобрялись замужества с сибирячками, так как по закону 1836 г. родители в смешанных семьях обязаны были воспитывать детей в православном вероисповедании.

О жизни польских ссыльных во второй четверти XIX века мы узнаём из удивительного документа — сибирского дневника конарщика Юлиана Сабинского. Дневник этот только что

опубликован издательством «Неритон» совместно с Институтом истории ПАН. Сабинский день за днем описывал все события с 1839 по 1857 г., до тех пор пока он — как и другие ссыльные: поляки и декабристы — по случаю коронации Александра II в 1856 г. не получил возможности вернуться в родные места. К теме возвращений я еще вернусь, если хватит времени. Дневник — это два тома ежедневных записей (в конце пребывания уже с пропусками), две тысячи страниц, плюс третий том — 170 страниц именного указателя, включающего свыше полутора тысяча имен. Дневник и его автор — это поистине уникальное, единственное в своем роде явление. Мы его трижды читали полностью: сначала сверяя компьютерную перепечатку с оригиналом (страницами ксерокопий), потом редактируя и составляя указатель и, наконец, читая корректуру, каждый раз удивляясь как содержанию записей, так и личности автора — человека необычайного характера, силы духа, всесторонне образованного, полиглота: он объяснялся на всех европейских языках — английском, французском, немецком, итальянском и был их превосходным преподавателем; русского он не знал, но в ссылке изучил так, что не только мог изъясняться, но и читать великих классиков с Гоголем во главе; в самый начальный период этот каторжник, когда пришлось из-за болезни позвать местного врача, который языков, кроме родного, не знал, — Сабинский вел с ним разговор по латыни. Кстати, один из губернаторов, некий Копылов, переводчик Светония на русский язык, приглашал его и других польских каторжников, чтобы за столом поговорить на любимой латыни, которой в Сибири в его окружении никто не знал...

Сабинский учил и воспитывал самоотверженно и с талантом, у него всегда было больше желающих, чем свободного времени. Он учил детей Волконских и Трубецких бесплатно, и ничто не могло изменить его правил: он всегда помнил и подчеркивал, какую помощь польским ссыльным оказали в самый трудный начальный период пребывавшие в Восточной Сибири с 1826 г. декабристы. Будучи учителем сына Волконских Михаила, он целые месяцы жил в их доме, участвовал во всех семейных праздниках, в горечах и радостях. Всё это мы узнаём не из кратких воспоминаний, написанных спустя годы (таких много), а из ежедневных записей, по свежей памяти. И мы понимаем, что каторга и ссылка тех лет не сводилась к тяжелому физическому труду, а знаменовалась страшной, ежедневной тоской по своей семье, по друзьям, по родным местам. Декабрист Лорер записал в воспоминаниях свой разговор со ссыльным поляком, который каждый день гулял по одной и той же дороге. На вопрос, почему он не изменяет

направления, получил ответ: когда я иду на запад, мне кажется, что я всегда чуть-чуть ближе к моей родине...

Сабинский тоже очень страдал, что он учит и воспитывает детей пусть даже уважаемых и любимых друзей, но всё же это «чужие» дети, а не свои: он ведь оставил дома троих (двух сыновей и дочь); уже когда он собирался в дорогу в Сибирь, умерла его обожаемая жена, и ему не дано было с ней попрощаться; он не был на похоронах матери и отца; об их смерти, как и о уходе самых близких друзей и родных, он узнавал из запоздалых писем. Он оказался в чужой среде, кругом слышал чужой язык и иногда сомневался, изменится ли когда-либо его положение. Вот в этом и была трагедия ссылки в Сибирь. Он и другие ему подобные, высоко ценившие личную свободу и чувство собственного достоинства, с трудом привыкали к зависимости от всяких «начальничков», даже хорошо к ним относящихся. Примеров много. Вот Андрей Павлович Мевиус, управляющий Сибирскими солеваренными заводами, — он оставил Сабинского и Леопольда Немировского, чтобы они отбывали годы каторги, обучая его чад. С одной стороны, это удача, но с другой... Любую поездку к друзьям, пребывавшим в Александровском винокуренном заводе (в Иркутске) или в иной местности, надо выпрашивать — без разрешения начальника нельзя покинуть Усолье даже на самое короткое время. Сабинский не жалуется, но это чувствуется между строк. Потом, в Иркутске, он уже поселенец, желанный гость в доме генерал-губернатора Вильгельма Руперта, учит языкам его дочерей, обедает за одним столом с хозяевами, приглашен на семейные праздники, весьма огорчен приближающейся отставкой уважаемого генерала. И в то же самое время вдруг вспоминает Мевиуса и записывает свой с ним «искренний» разговор, когда высказал все накопившиеся претензии: что всё время, проведенное в Усолье, тот относился к нему и другим польским ссыльным с невыносимым снисхождением, не приглашал к столу, а заставлял обедать со слугами или за отдельным столом. И старик Мевиус извинялся, просил прощения.

Вот почему с таким уважением вспоминали в Сибири польских ссыльных первой половины XIX века, а газета «Сибирь» сожалела, что после амнистии 1856 года почти все они уехали.

Но не успели они покинуть Западную и Восточную Сибирь, а также 14 внутренних губерний империи, как двинулась другая волна ссыльно-каторжан: сначала участников патриотических манифестаций 1861 г., тайных кружков 1862 г., а вскоре восстания 1863–1864 гг. Это была кульминация польской

ссылки того столетия: в нашей картотеке фигурирует свыше 40 тысяч фамилий ссылаемых по всем перечисленным мною формам наказаний: на каторгу, поселение, в арестантские роты, на жительство; правда, в армию участники восстания попадали только в самом начале. С военной реформой 1864 г. этот вид наказания был отменен, так же как и ужас «прогона сквозь строй» — нередко кончавшегося смертью под палками: телесные наказания остались лишь как страшное воспоминание о минувшем (сохранились только применяемые в особых случаях розги, не лишавшие жертв жизни). Зато значительно возросло количество высылаемых на водворение и в арестантские роты.

Про ссыльных второй половины века я не буду сегодня распространяться. Их судьба тоже далека от мифа о «прикованных к тачкам» каторжникам. Не случайно жизнь в Усолье один из них назвал «Аркадией». Другой мемуарист сообщает, что никогда и нигде в своей жизни он не встретил столько интересных людей и не слышал таких лекций и дискуссий, как на усольской каторге. Но, конечно, так было не везде. Судьба некоторых, особенно духовных лиц, была весьма тяжелой. Об этом подробно пишет в своих книгах мой коллега, профессор Люблинского католического университета Эугениуш Небельский.

Самым трагическим в истории этой ссылки было Забайкальское восстание 1866 года. Оно тоже — как и «омское дело» — закончилось смертью, на этот раз расстрелом зачинщиков, и строгими наказаниями всех остальных. На эту тему мы опубликовали книгу воспоминаний; им я посвятила главу в своей книге «Побеги из Сибири» (о побегах польских ссыльных в XIX веке).

Но и в это время создавались «огулы», вместо каторги занимались учебой и обучением. Большое количество сосланных и разнообразный социальный состав обуславливали возникновение конфликтов. Об этом можно говорить очень долго.

Хотелось бы еще в заключение сказать, что глубоко ошибаются историки и особенно журналисты, у нас и за рубежом, называя ссылку в Российской империи «царским Гулагом». Русское государство Романовых во все времена своего существования было самодержавной монархией с разными оттенками в разные периоды; оно не имело ничего общего с тоталитарной системой. Целью всех видов ссылок от каторги до жительства не было истребление «неудобных» элементов населения, но их изоляция и, как сегодня модно говорить, ресоциализация;

когда кончался назначенный срок (по амнистиям всегда сокращаемый) и власти приходили к выводу, что наказанного можно считать лояльным подданным, — он мог вернуться на родину. Следует добавить, что царские власти боролись с настоящими противниками, — мы можем считать наказания слишком строгими, но они применялись по существующим законам. За ложные доносы их авторы тоже шли на каторгу. Наказанные поляки — по уголовным и политическим делам — использовались для колонизации захваченных территорий, но для этого они получали большие ссуды и хорошие участки земли. Власти знали о золоте на Колыме, но шли прения, выгодно ли посылать туда на принудительные работы, а это означало обеспечить жильем, теплой одеждой и продовольствием; при отсутствии дорог это было очень дорого. И проект был оставлен на долгие годы. Я приводила уже примеры хорошо зарабатывающих — вопреки официальным запретам — врачей, учителей, чиновников из ссыльных. Были среди них и известные ученые, которых работы поощряло Императорское Географическое общество (Бенедикт Дыбовский и многие другие, о которых написано бесконечное количество монографий и статей). Даже в Якутии, которая считалась карцером Сибири, никто не умирал от голода, а якуты до сих пор сохранили память о Серошевском и Пекарском: первый описал их обычаи, второй — создал первый якутско-монгольско-русский словарь, переиздаваемый до сих пор. Были случаи, когда бывшие ссыльные становились собственниками золотых приисков, оставались добровольно в Сибири или возвращались на родину с золотом, как прадед нашего друга, который на то, что там заработал, построил с братом первую паровую столярню в Кракове.

Не довелось мне слышать, чтобы кто-то из польских переселенцев или лагерников вернулся из СССР с хотя бы ничтожным состоянием или научными достижениями. Их таланты гибли в непосильной работе в шахтах, на лесоповале, они становились доходягами («мусульманами» в гитлеровских концлагерях). До такого состояния ни один каторжник, даже рецидивист, отбывавший наказание в Акатуе, само название которого вызывало трепет, не был доведен; во всяком случае ни воспоминания, ни документы ничего подобного не отмечают.

-
1. Термин «жительство» означал высылку в «места более или менее отдаленные» под полицейский надзор, без права покидать новое место жительства. Это могли быть внутренние губернии Российской империи или Сибирь;

ссылали с «лишением прав состояния» или без оно́го, на определенное время. Это наказание считалось более легким, часто подозрительных лиц высылали только в административном порядке, без приговора суда. «Водворение» было легче на первый взгляд, но на самом деле оно было формой колонизации, так как «водворенные» не подлежали амнистии. В качестве «более или менее отдаленных» мест водворения указывались вместе с судебным приговором или административным постановлением, на неопределенное время, та или иная губерния, в Сибири — чаще всего Томская. В Сибири конкретные места водворения определялись в Тобольске и Томске. Из т.н. Западного края высылали целыми деревнями, хуторами по любому поводу, что было связано с политикой деполонизации, которую проводил Михаил Муравьев-Вешатель.

КУЛЬТУРНАЯ ХРОНИКА

• Акцентом завершившегося 2009 года стали выставки изобразительного искусства — старого и нового.

По посещаемости, безусловно, на первом месте окажется «Моя жизнь. Произведения Яцека Мальчевского из собрания Национального музея в Варшаве». Выставка подготовлена к 80 летию со дня смерти художника, чрезвычайно важного для польского сознания. Показано 130 картин и этюдов маслом. Среди них такие известные, как «Польский Гамлет», «Смерть Элленаи», «Автопортрет в доспехах» и триптих «Музыка», а кроме того почти 200 рисунков и акварелей.

— «Моя жизнь» — это рассказ о жизни Мальчевского и картина его творчества. Представлены портреты близких художника — сестры, зятя, матери, детей, немногочисленные портреты жены Марии и многочисленные — Марии Баль, музы и модели Мальчевского. Еще знаменитые автопортреты, в которых художник примеряет арестантский халат, рыцарские доспехи, показывает себя в виде Христа, святого Франциска, невольника искусства. Мальчевский открывает в них многие свои лица, разрешает нам их увидеть, потому что это не всегда всерьез. Из воспоминаний о художнике можно узнать, что он разгуливал переодетым и по улицам уважаемого галицийского Кракова, любил чем-то отличаться, — рассказывает куратор выставки Эльжбета Харазинская.

Символическая живопись Мальчевского — с ее отсылками к истории и религии, с костюмами, фантазией, меланхолией и таинственностью — несомненно, может иметь успех у польского зрителя. А вот насколько она «переводима», понятна и для иностранцев — это уже другой вопрос.

Выставку можно увидеть в Национальном музее в Варшаве до 7 февраля 2010.

• А в Королевском замке в Варшаве — выставка «Красота портрета. Польша от Кобера до Виткация», канон польского портрета с XVI века до времени «Молодой Польши». Виткация, пожалуй, нет необходимости представлять. Вот Мартин Кобер (1550 — 1598) менее известен. А он был первым в Польше живописцем, специализировавшимся в так называемом официальном портрете. Увековечивал в основном

коронованных особ и сильных мира сего. Его кисти принадлежат, например, образы несогласной супружеской пары — Стефана Батория и Анны Ягеллонки. Рецензент «Газеты выборчей» пишет о них: «Стефан Баторий показан без инсигний власти, с отсутствующим взглядом. Возможно, он даже не хочет смотреть на жену, которая на портрете Кобера предстает унылой совой с некрасивым, морщинистым лицом. Будь Анна Ягеллонка чуть красивее, династия Ягеллонов не угасла бы. Но она угасла — а Кобер уродство королевы показал с беспощадной определенностью».

Конечно, немало портретов женщин выдающейся красоты. Одна из самых красивых — Анна Ожельская, внебрачная дочь короля Августа II Саксонского, на портрете из галереи дворца в Неборове.

Всего показано 70 портретов кисти художников, чьи имена и свершения определяют динамику перемен в истории польской живописи и в значительной мере — в европейской живописи. Представлены, например, произведения Марчелло Баччарелли, Антония Родаковского, Юзефа Панкевича, Ольги Бознанской, Мальчевского, Выспанского, Станислава Игнация Виткевича, а также Элизабет Виже-Лебрен или Ари Шеффера. Работы представили около 30 музеев и других собраний из Польши и из-за рубежа.

Выставка в Королевском замке открыта до 28 февраля 2010.

• Как ни странно, но подготовленная варшавской галереей «Захента» выставка работ Збигнева Либеры — это первая в Польше ретроспектива известного художника. А вообще — вторая: первой была ретроспективная выставка в США.

Либеры — ведущий художник польского критического искусства, автор знаменитых, широко известных работ, таких как «Лего. Концентрационный лагерь» или «Позитивы». В четырех залах «Захенты» представлено 125 его работ 1982–2008 годов.

«Выставка в „Захенте“ трудна для восприятия» — написала в «Газете выборчей» Агнешка Ковальская. — Мы видим концентрационный лагерь из элементов „Лего“, винтовки-дрели, родильные кресла в комплекте для маленьких девочек, смотрим фильм „Интимные обряды“, в котором Либеры жестоко и откровенно показывает то, что ему приходилось делать для своей немощной бабушки. Это по-прежнему злободневные, актуальные работы. Благодаря малоизвестным фотографиям и архивным документам 1980-х выставка

наполнена также атмосферой молодежного бунта и бескомпромиссности».

Выставку можно посмотреть до 7 февраля 2010 года.

• Центральноевропейскую литературную премию «Ангелус», учрежденную городом Вроцлавом, получил в этом году чешский писатель-эмигрант Йозеф Шкворецкий за книгу «Приключения инженера человеческих душ», вышедшую в издательстве «Пограниче».

Во время торжественной церемонии в Музыкальном театре «Капитоль» во Вроцлаве председатель жюри Наталья Горбаневская сказала, что счастлива тем, что книга Шкворецкого, которую она много лет читает и перечитывает по-чешски, пришла наконец к польскому читателю (роман написан в 1977 году).

Наталья Горбаневская подчеркнула: из романа «Приключения инженера человеческих душ» можно извлечь урок, что жизнь «при коммунистах, при гитлеровской оккупации, жизнь в эмиграции и даже жизнь вообще одновременно смешнее и страшнее, чем можно прочесть в учебниках, исторических трудах или публицистике. В этом и состоит чудо литературы».

От имени автора, которому здоровье не позволило приехать в Польшу, премию принял переводчик награжденной книги Анджей Ягодзинский. Он получил также впервые присуждающуюся в этом году премию для лучшего переводчика.

В списке финалистов конкурса было еще шесть авторов. Это Игорь Бабков («Клакоцкий Адам и его тени») из Белоруссии, Миленко Ергович («Рута Танненбаум») из Боснии, Ота Филип («Соседи и те другие»), чех, живущий в Германии, Бернхард Шлинк («Возвращение домой») из Германии, а также Кшиштоф Варга («Гуляш из туруля») и Инга Ивасюв («Бамбино») из Польши.

Премия «Ангелус» присуждается за лучшую книгу прозы, опубликованную на польском языке в предыдущем году. Премия — это статуэтка Ангелуса Силезиуса работы Эвы Россано и чек на 150 тыс. злотых.

Премия Шкворецкому неожиданно вызвала возражения и волну споров. Выдающиеся достоинства прозы чешского автора не подвергались сомнению. Но ставился вопрос о смысле премии «Ангелус». Гжегож Чеканский в портале книжной

торговли ksiazka.net.pl заявил, что вроцлавской премии явно недостает выраженной определенности и четких критериев, и даже назвал ее «шизофренической».

„Я не намереваюсь спорить с решением жюри, которое является, как и должно быть, окончательным, — пишет Чеканский. — Но обратим внимание на серьезные последствия присуждения премии «Приключениям инженера человеческих душ» Йозефу Шкворецкому. До сих пор отмечались книги сравнительно «свежие» («Двенадцать кругов» Андруховича, 2003; «Смерть в бункере» Поллака, 2004; «Harmonia Caelestis» Эстерхази, 2001 [даты выхода книг в оригинале]), соответствующие статуту премии, присуждаемой авторам, «которые в своих произведениях поднимают наиболее существенные для современности темы, побуждают рассуждать, углубляют знания о мире других культур». Но как вписывается в современность книга (без обиняков — выдающаяся книга), изданная в 1977 году? Какое влияние на современного читателя должна оказывать публикация тридцатилетней давности?» — пишет раздраженный критик.

На дискуссионном форуме часть посетителей соглашалась с ним, другие же — нет.

«Трудно не согласиться с господином Чеканским. Статут „Ангелуса” мутный, как воды Ганга в пору муссонов; критерии, которыми руководствуется жюри, не особенно уточнены, а факт, что премию получил писатель, от книги которого не веет свежестью, позволяет допустить, что в следующем году лауреатом станет Карел Чапек — например, за „Год садовода”. А почему бы и нет? Писатель был прекрасный, как и несколько других братьев-чехов».

И вот здесь интернавт ошибается: Карел Чапек (1890-1938) «Ангелуса» не получит точно, так как, по статуту, награждаются только живущие авторы.

Но поспорить об «Ангелусе» все же стоит.

• Анджей Добош стал в нынешнем году лауреатом премии имени Анджея Киёвского. Отмечен его сборник фельетонов «Сады и помойки», изданный в «Библиотеке „Вензи”».

Премия вручалась уже двадцатый раз. В 1985 г. ее учредил подпольный Комитет независимой культуры. Среди лауреатов были Адам Михник, Адам Загаевский, Владзимеж Болецкий, Анна Боярская, Кшиштоф Дорош, Ян Вальц. Начиная с осени 1996 г. премию присуждают Казимера Киёвская, вдова

выдающегося критика и эссеиста, и Национальное учреждение имени Оссолинских.

- Литературную премию польского ПЕН-клуба имени Яна Парандовского получила Юлия Хартвиг.

— Во всем своем творчестве Юлия Хартвиг старается найти соответствующую меру. Она из тех поэтов, кто продолжает вековые поиски гармонии; не только гармонии звуков, языка, но и гармонии мира. Казалось бы, таких поэтов трудно найти в современном мире. Но вопреки ощущению людей XX века, что гармонию нельзя искать в современности (а нарушенной ее считали еще в древности), такие поэты существуют, — сказала на церемонии ее организатор Ивона Смолька.

Премия имени Яна Парандовского — это литературная награда польского ПЕН-клуба, присуждаемая ежегодно начиная с 1988 г., за совокупность творчества. Среди лауреатов премии были, например, Збигнев Херберт (1989), Густав Герлинг-Грудзинский (1990), Лешек Колаковский (1992), Станислав Лем (1994), Рышард Капустинский (1995).

Стихи Юлии Хартвиг в нашем журнале — см. «Новая Польша», 1999, №4; 2002, №12; 2004, №9; 2005, №4; отрывок из книги прозы «Избранники судьбы» — 2006, №7-8; там же — беседа с автором.

- Сборник очерков «Готтленд» Мариуша Щигеля отмечен в Брюсселе премией «Europe Book Prize 2009». На премию было выдвинуто несколько десятков европейских книг, в финале осталось четыре. В жюри входили публицисты и критики ведущих европейских газет. «Готтленд» выдвинули на конкурс французские критики (переводчицей французского издания была Марго Карлье). В Польше книга вышла в издательстве «Чарне» в 2006 году.

Мариуш Щигель известен также российским читателям. В начале декабря он побывал в Москве на 11-й Международной книжной ярмарке non-fiction. Его знаменитый, неоднократно отмеченный премиями, переведенный на многие языки «Готтленд» вышел недавно по-русски в издательстве «Новое литературное обозрение» в переводе Полины Козеренко.

- Во время Вроцлавского смотра малых книг была присуждена премия за книгу года «Перо Фредро». Среди 113 заявленных названий жюри выбрало книгу «Ах! Киноплакат в Польше» авторства Дороты Фольги-Янушевской (издательство «Бош»). Книга содержит очерк истории киноплаката в Польше, в ней

воспроизводится свыше 530 плакатов к кинофильмам, часто вдохновленных живописью, графикой и искусством кинематографа. Дизайн этого со вкусом выполненного издания принадлежит профессору Леху Маевскому и Юстине Черняковской.

- Польско-немецкая премия 2009 г. была присуждена польской переводчице немецкой литературы Малгожате Лукасевич и немецкому переводчику Карлу Дедециусу. У обоих лауреатов немалые заслуги перед культурой, в деле сближения посредством ее двух народов. В юбилейном 2009 году специальные премии были присужденные Леху Валенсе и бывшему президенту Германии Рихарду фон Вайцзеккеру.

- Поклонников прозы Густава Герлинга-Грудзинского порадует, наверное, известие, что существует никогда не публиковавшийся его дневник 50-х годов. Этой информацией поделилась дочь писателя Мария Герлинг на вечере в Европейской библиотеке в Риме в связи с приходящимся на нынешний год 90-летием автора «Ночного дневника». Мария Герлинг сказала, что этот неизвестный дневник писатель стал вести, когда поселился в Неаполе.

Будет кстати напомнить, что в России несколькими месяцами ранее почтили память польского писателя. В сентябре в Ерецево Архангельской области, где в сталинские времена был расположен один из самых суровых советских лагерей, был установлен (на средства польского министерства культуры и национального наследия) памятный камень с надписью о пребывании Густава Герлинга-Грудзинского в этом лагере.

В церемонии приняли участие Марта Герлинг, польские дипломаты и представители местных российских властей. Писатель, осужденный в 1940 г. за попытку нелегального перехода границы, просидел в лагерях два года. Ерецево было последним местом заключения перед освобождением. Память о лагерях — в том числе и о Ерецево — нашла свое отражение в его знаменитой книге «Иной мир».

- В Национальном театре («Театр Народовый») в Год Юлиуша Словацкого — премьера «Балладины», загадочной «будто трагедии». Режиссер спектакля — Артур Тышкевич, чьим высшим достижением до сих пор был осыпанный премиями спектакль по Гомбровичу «Ивонна, принцесса Бургундская», поставленный в 2005 г. в Драматическом театре в Валбжихе. На этот раз успеха не случилось.

В «Дзеннике — Газете правовой» Яцек Вакар пишет в рецензии, озаглавленной «Бледная тень „Балладины” в Национальном театре»: «В представлении несколько эффектно задуманных сцен, есть намётки оригинальной трактовки заглавной роли. Но в целом спектакль в режиссуре Артура Тышкевича разочаровывает фрагментарностью несогласованных между собой элементов. „Балладина” в Национальном — это очередной в карьере режиссера спектакль высокого риска. Драму Словацкого знают все, и прославленная сцена всегда будит ожидания. На этот раз риск был исключительным, потому что ровно 35 лет назад здесь же показал свою „Балладину” Адам Ханушкевич. Эта постановка, опознавательным знаком которой была Гоплана на „Хонде”, начала общенациональную дискуссию о границах вмешательства режиссера в классический текст. Спектакль также стал знаком стиля Ханушкевича и одним из самых знаменитых зрелищ в послевоенной истории польского театра. Постановка Тышкевича не вызовет даже и малой доли прежних споров. Спектакль идет три часа, а помнишь его три минуты. Режиссер утратил чувство меры. Он хотел совместить несколько разных жанров, надеясь, что целое сложится во фраппирующую мозаику. Не получилось».

• Еще перед премьерой с создателями спектакля беседовал Яцек Цесляк («Жечпосполита»).

— Работая над текстом уже на сцене, я все более убеждался, что „Балладина” вдохновила Витольда Гомбровича, — сказал Артур Тышкевич. — Гротескная форма его пьес многим обязана Словацкому, который был действительно великим поэтом.

Режиссер хочет подчеркнуть мотив нравственности:

— Словацкий показывает, что человек погряз во зле. Часто непонятно, откуда оно берется, но оно несомненно. В противовес этому печальному диагнозу человечеству автор показывает мир духов — безусловно чистых. Столкновение с людьми для них губительно. Человек убивает всё вокруг себя, а самого себя — прежде всего. Безотносительно к социальным и семейным обстоятельствам преступление не может быть оправдано, а совершивший его должен понести кару.

Сыгравшая Балладину актриса Виктория Городецкая говорит:

— Мы с режиссером решили, что я не буду играть злую женщину. На Балладину влияет судьба и люди. И превращают ее жизнь в трагедию. В создании образа мне помогло чтение «Преступления и наказания» Достоевского. Балладина и

Раскольников похожи друг на друга. Зло порождает лавину событий, которую не удастся остановить.

Но, похоже, ни Гомбрович, ни Достоевский не пошли спектаклю на пользу.

ОТЛЁТ

«Шопен и его Европа»... Так назывался замечательный фестиваль, прошедший в Варшаве во второй половине августа 2009 года. Но что, собственно, значат эти слова? Проверим, для порядка излагая тему по пунктам.

1. Как выглядит географическая карта ситуации? Три города: Варшава, Вена, Париж. Варшава — опера, консерватория, девять музыкальных книжных магазинов (а сколько сегодня?), несколько фортепьянных фабрик, интенсивная концертная жизнь, многочисленные литературные журналы, ожесточенный спор между классиками и романтиками. Вена — когда Шопен выезжает из родной страны, она всё еще музыкальная столица Европы, живая память о Гайдне, Моцарте, Бетховене, Иоганн Непомук Гуммель, гуру того сентиментального стиля, который отдает первенство чувствам и позволяет блеснуть исполнителю. Париж — когда Шопен покидает Вену, центр мира теперь уже здесь, плеяда великих виртуозов (Лист, Калькбреннер и компания), взрыв нового, романтического языка.

2. Чем молодой Шопен обязан Европе? Варшаве — хорошим воспитанием, тщательным образованием, умением вести себя в обществе, овладением фортепьянной игрой и композиторским ремеслом, идеей национального искусства, черпающего из духа местного фольклора. Вене — стилистическим образцом, отвечающим вкусам публики, которая жаждет передохнуть после ригористического искусства старых мастеров. Парижу (где ему идет в плюс, что он поляк, «сын многострадального народа») — вхождением в артистический большой свет и признанием, которое граничит с обожанием и преклонением.

3. Чем обязан Европе зрелый Шопен? В действительности уже ничем. Он живет жизнью светского человека. Но начиная с Этюдов соч. 10, двух первых Баллад и двух первых Скерцо его искусство уже не переживает никаких влияний, оно отвернулось от сочинений ровесников, закрылось от отголосков мира, разговаривает само с собой.

4. Как Европа пишет о Шопене? Лист в Париже — экзальтированно. В Германии Шуман сначала с восторгом, позже — с растущим замешательством; Мендельсон — с

доброжелательным, хотя и не полным пониманием; музыкальный критик Людвиг Рельштаб — со злостью, но забавно: об Этюдах соч. 10 он говорит, что у кого прямые пальцы — тот на них пальцы искривит, а у кого кривые — выровняет; позже его суждения мало-помалу смягчаются, и со временем он специально прибыл в Париж и добивался у Шопена аудиенции. Гнездом мракобесов остается Лондон. В тамошнем «Мьюзикал уорлде» Шопена называют музыкальным нулем, а творчество его характеризуют как какофонию.

5. Понимает ли Европа Шопена? У него самого нет иллюзий: перед смертью он считает (на пальцах!) тех, кто действительно понимает его искусство. Лист? Делакруа? Франшомм? Марцелина Чарторьская? Фонтана? Но и то ему дьявольски повезло. Его послеваршавские произведения до того экстравагантны, причудливы, что стократ были бы вправе признать их плодами безумца. На подмогу приходит романтическая мода. Она ценит всё темное. И чем темнее, тем большая там таится глубина. И вот, хоть и не совсем понимая, в Париже его любят.

6. Чему Европа сумела научиться у Шопена? Немногому. У Шопена-пианиста были ученики. Но у композитора учеников не было. Он не породил продолжателей. Линия «Моцарт — Гуммель — молодой Шопен» заканчивается на зрелом Шопене. Шуман находит свое продолжение в Брамсе. От Вебера через Листа и Берлиоза дорога ведет к Вагнеру, Малеру, Рихарду Штраусу. Шопен — инакий. Он пишет музыку революционную, пророческую, но слишком индивидуальную, особливую, чтобы из нее можно было почерпнуть образец. Мазурочные эпигоны в Польше пробовали — с ничтожным результатом.

Шопен выпорхнул из Европы. И улетел.

ЧТОБЫ НЕ БЫЛО БОЛЬНО

Документальный фильм — фрагмент действительности: он запечатлевает повседневность, которая часто проходит мимо нас незамеченной. Но зоркий документалист направляет взгляд зрителя на мгновенное, учит вниманию. Здесь нет места комфортабельному, поверхностному созерцанию. Индивидуальное лицо героя фильма воплощает в себе целый космос эмоций, а камера улавливает в этой вселенной то, благодаря чему единственное число интуитивно заменяется множественным. Видя других, мы начинаем понимать себя.

Польская школа документалистики

Польский документальный кинематограф в течение многих лет был независимой исторической хроникой, но его главными ценностями всегда были глубоко гуманистический взгляд на человека и способность показать в недостатках портретируемого героя изъяны эпохи.

Ностальгия — это не единственное чувство, которое охватывает меня при просмотре первых послевоенных польских документальных фильмов. Тогдашние молодые кинематографисты, лишённые большинства современных технических средств (нельзя было записать звук параллельно съёмке), снимали фильмы динамичные, обычно творческие, с очевидным гуманистическим посылом, который сводил к минимуму идеологическую заданность. В этом большая заслуга Ежи Боссака, харизматического педагога Лодзинской киношколы, который полагал, что, прежде чем молодые документалисты (а многие впоследствии придут и в художественный кинематограф) обретут собственную, автономную творческую индивидуальность, они должны в совершенстве овладеть ремеслом. Поэтому уже первые послевоенные польские документальные фильмы удивляют осознанностью киноязыка. В них ровные темпоритмы, умелый монтаж, интересный замысел.

Когда в начале 60-х годов возникла синхронная запись звука, польские кинематографисты, окрыленные этой возможностью, впервые с особым вниманием направили объектив камеры на отдельного героя. Тогда и родилось понятие «польская школа документалистики». Однако наиболее интересные представители «школы», во избежание

опасностей стилистики так называемых «говорящих голов», на примере единичного портрета всегда показывали сложную польскую действительность. Здесь следует подчеркнуть, что у нас, в принципе, никогда не привилась чисто утилитарная функция документального кино, которое должно объяснять сложные общественные процессы или вводить зрителя в сложную культурную тематику. Такими задачами занималась специально для этого созданная Лодзинская киностудия учебных и научно-популярных фильмов, документальная продукция которой, впрочем, в большинстве своем относилась к области искусства, а не публицистики.

Учителя и мастера

Насколько Ежи Боссак обращал внимание прежде всего на вопросы ремесла и на роль документалистики в создании достоверного образа польской действительности, настолько представитель следующего поколения Казимеж Карабаш, автор многих классических фильмов, стал для своего и нескольких последующих поколений кинематографистов непререкаемым авторитетом в области эстетики. Доктрина Карабаша, если очень упрощенно о ней говорить, — это минимальная режиссерская постановка снимаемого явления. Режиссер должен разрешить героям говорить то, что они в самом деле думают. Не заменять в документальной ленте Бога, не творить увлекательную беллетристику, никого не обижать. Наиболее последовательным приверженцем этого направления был Марцель Лозинский, но сходные принципы исповедовали и корифеи гуманистического взгляда на героя и окружающую действительность: Яцек Блаут, Мацей Дрыгас, Войцех Старонь.

«Польская школа документалистики» была и до сих пор остается очень разнородной. Здесь есть свои направления, группы, отдельные явления. Это всегда была школа индивидуальностей с выраженными и четко определенными взглядами — на искусство, действительность и на кино. С документалистики начинали свой путь в кинематографе когда-то Войцех Ежи Хас, Анджей Мунк, Анджей Вайда: на рубеже 60-х — 70-х годов силу своего таланта именно в документалистике впервые проявил Кшиштоф Кеслёвский. Именно благодаря Кеслёвскому, но также и Марку Пивоварскому, Марцелю Лозинскому и Войцеху Вишневскому о польском документальном кино заговорили по всему миру. Артистичный документальный фильм стал привлекательным экспортным товаром, но одновременно, с исторической точки зрения, он был и достоверной картиной нашей действительности. В польских документальных лентах 70-х

годов мы увидели Польшу без ретуши: серую, сонную и надломленную, часто абсурдистскую, а иногда удивительно красивую. Кинематографисты не ограничивались, однако, только наблюдением, они хотели заявить позицию. Свершить суд над безразличием, цинизмом, взяточничеством, но и бросить спасательный круг тем, кто не сумел в бесчестное время сохранить врожденную честность.

Сколь ни парадоксально, но самым трудным периодом в истории польского документального кино оказались первые годы долгожданной свободы. «Польская школа документалистики» на несколько долгих лет была захвачена стадом бездарных ремесленников. После падения коммунизма в Польше кинематографисты с трудом находили новые темы, при этом катастрофически снизился спрос на документалистику. Документальное кино утрачивало позиции: ленты исчезали из кинотеатров, где до середины 80-х годов демонстрировались как «киножурналы» перед художественными фильмами (сегодня эту роль обычно выполняет реклама). Почти полная монополия на производство и показ документальных фильмов досталась в это время государственному телевидению. Фильмы, сделанные в телевизионном формате, стали короче, их тематика по преимуществу была связана с болезненными явлениями переходного периода, а стилистика всё чаще сближалась с типовым репортажем. Печальным следствием очередной технической революции (видеозапись) стало снижение художественного качества фильмов. Документальные ленты лепились на скорую руку, сразу с прицелом на телевизионный рынок.

В течение ряда лет в Польше, как и во всей Европе, господствовала мода на так называемые докудрамы. Большой популярностью пользовались нескончаемые сериалы, стилизованные под подлинность, действие которых разворачивалось в больницах, казармах или церковных приходах. Популярность такой продукции оказалась, однако, недолгой и окончательно исчерпалась, когда зрителю подсунули «реальность» в еще более заманчивой упаковке, то есть в очередных мутациях reality show, а далее в программах типа «Идол» или «Бар».

Остров Лозинского

Первыми ласточками позитивных перемен в польской документалистики были снятые в 90-е годы знаменитые фильмы Марцеля Лозинского. В выдвинутой на «Оскар» ленте «89 мм от Европы» Лозинский запечатлел железнодорожный

вокзал, на котором поезда, следующие в Польшу и в Россию, переставляют на рельсы другой ширины. Вот эта разница — заглавные 89 мм от Европы — стала для режиссера квинтэссенцией различия двух миров, показанного с точки зрения ребенка, который наблюдает происходящее, приходя, возможно, к детским, но поразительно точным выводам. Какова в самом деле граница между этими двумя мирами? Географическая, политическая? Или дело в ментальности?

В другом своей безусловной удаче 90-х годов, «Чтобы не было больно», Марцель Лозинский навещает героиню одного из своих предыдущих фильмов («Визит») — Уршулю Флис. Когда-то режиссера поразило, что эта интеллигентная, блистательная девушка решила уехать в деревню и заняться прозаическим сельским трудом на своей земле. Спустя годы Лозинский ищет в доме Уршули ответ на вопросы, значительно более глубокие, чем решение, где жить. Его интересует смысл жизни. Он спрашивает Уршулю, как нужно жить (в новой Польше), «чтобы не было больно».

Самой интересной работой Лозинского этого времени, а одновременно и фильмом, триумфально обозначившим новый этап в польской документалистике, стала лента «Всё может случиться». Это шедевр жанра. Тот самый мальчик, с которым мы познакомились в «89 мм от Европы» (кстати, сын режиссера), проводит долгие часы в парке, купающемся в солнечных лучах и зелени. Как одержимый катается на скейтборде и словно бы случайно останавливается у скамеек, на которых сидят пожилые люди. Мальчик задает им, возможно, самые простые, но и самые проникновенные вопросы: о смысле жизни и смерти, спрашивает, чувствуют ли они себя одинокими или почему плачут... Завсегда и парка, которые, скорее всего, никогда бы так не откровенничали с иным собеседником, обезоруженные наивностью и искренностью мальчика, снимают защитный панцирь лицемерия. Они рассказывают о несчастливых браках, тяжелой жизни, о тающей надежде на счастье — вечное счастье. В пронзительном фильме Марцеля Лозинского слова героев становятся откровеннейшей исповедью самого зрителя.

Какое-то время казалось, что достойным продолжателем стиля Марцеля Лозинского станет его сын Павел. К сожалению, после ряда отличных документальных лент, сделанных в конце прошлого десятилетия («Такая история», «Сестры»), все последующие фильмы Павла Лозинского разочаровывают. Но зато в неизменно хорошей форме сам Марцель Лозинский: в 2006 г. этот почти семидесятилетний режиссер показал яркую

документальную ленту «Как это делается» — фильм, раскрывающий механизмы политических и медийных манипуляций. Политика, как легко понять, показана в этом разоблачительном фильме как мутная, вонючая лужа, где в одной и той же грязи бултыхаются левые, правые, центристы... Вроде бы ничего нового, однако самое главное в фильме — это социальные последствия. Картина Лозинского — еще один автопортрет поляков. Режиссер и его команда, в которой, в частности, знаменитый монтажер Катажина Мацейко-Ковальчик (она умерла 2008 г.), сделали фильм в репортажном стиле и темпе, с прекрасной динамикой. И запечатлели прикрываемую болтовней неспособность поляков к обычной честности. Бормотание персонажей о «нашем национальном» восходит, однако, не к «Фердидурке» Гомбровича, а к шовинистическим выкрикам «Лиги польских семей». Вот такова, собственно, Польша.

Фестивали и сферы влияния

Приблизительно с начала нынешнего десятилетия польский документальный кинематограф, в отличие от художественного, переживает ренессанс популярности. Сегодня даже можно говорить о «моде на документалистику». Ежегодно в Польше делается около двухсот документальных фильмов, часть из которых попадает в кинотеатры, а большинство показывает телевидение. Польские документалисты получают награды на мировых фестивалях, а их фильмы вызывают споры, порождают политические и социологические дискуссии.

При этом Польское телевидение, единственный вчерашний меценат художественной документалистики, словно бы не хочет замечать этот феномен. После увольнения Анджея Титкова — замечательного режиссера и прекрасного организатора кинопроизводства — с должности главного редактора документального кино на Польском ТВ, подпав под власть представителей недавнего правого правительства, оно в основном ограничивается выпуском политических памфлетов, исторических репортажей и агиографических фильмов на религиозные темы. Художественное качество этой продукции просто постыдное. Поэтому меценатские функции ПТВ в определенной мере приняли на себя частные и коммерческие каналы. Мощная телекомпания TVN дала возможность делать фильмы, например, Марии Змарз-Кочанович («Гданьский вокзал»), много замечательных лент снято по заказу «НВО Polska», в том числе «Боец» режиссера Яцека Блаута — волнующий, хотя и художественно не вполне безупречный

фильм о кик-боксере Марке Пиотровском; первый в Польше фильм о гомосексуальных парах «Ното.pl» режиссера Роберта Глинского; вызвавшая большой резонанс лента Мартина Кошалки «Существование».

Режиссеры молодого поколения сегодня не только прекрасно овладели ремеслом, но и замечательно чувствуют новейшие течения в мировой документалистике. Особая ценность их фильмов состоит также в сочетании «международной» кинематографической культуры с глубоким личным переживанием польского материала. Режиссеры молодого поколения не забывают эстетические заветы своих наставников: Карабаша, Робаковского, Круликевича, — но и не становятся эпигонами. Они ищут свой язык, индивидуальное решение. О них спорят, они неоднозначны, но им, безусловно, нельзя отказать в таланте, смелости, в пронизательности взгляда.

Интересно, что большинство талантов польского документального кинематографа дала не Лодзинская, а Катовицкая киношкола, где под опекой открытых к эксперименту классиков — Богдана Дзиворского, Анджея Фидыка — кинематографическая молодежь имеет шанс по-настоящему расправить крылья. И уже не только государственные, но и почти все частные киношколы готовят будущих документалистов, на что получают внушительные гранты из европейских фондов. Результаты уже видны. Например, в Школе режиссерского мастерства Анджея Вайды создано много замечательных, отмеченных многими премиями документальных лент, которые часто снимались в рамках программы Польского союза кинематографистов «Первый документальный фильм». Для молодых документалистов проводятся специальные мастер-классы на кинофестивалях — «Два берега» в Казимеже Дольном, «Camerimagia» в Лодзи, «Молодые и кино» в Кошалине. По сей день, начиная с 60-х годов, самая полная панорама польского документального кинематографа — это ежегодный фестиваль документальных фильмов в Кракове. Этот фестиваль, который проводится под разными названиями, знал свои лучшие и худшие годы (последних, пожалуй, значительно меньше), но всегда был для польских документалистов неформальным форумом. В Кракове случались скандальные показы, велись политические споры, рождались новые таланты. Особое место среди многочисленных пропагандирующих документальный кинематограф фестивалей уже сумел завоевать проводимый несколько лет в Варшаве ежегодный «Planete Doc Review». Фестиваль не только показывает многообразие мировой

документалистики, но и заставляет задуматься над местом искусства документального кино в современном медиа-мире.

Индивидуальности

От искусства документального кинематографа неотделим автор, чей внимательный взгляд по-своему тенденциозно отбирает и концентрирует эмоции и переживания людей, о которых идет рассказ. Документалист всегда пристрастен. Ему может быть не чужд интерес к темным закоулкам человеческой души, к человеческому падению, но и свойствен гуманистический взгляд на человека заблуждающегося, падшего, но все же поднимающегося со дна. Яцек Благут обогащает эту вторую категорию своим характерным индивидуальным «клеймом». Это режиссер, который понимает страдание. Умеет исследовать боль. Человек страдающий, как убежден Благут, — это квинтэссенция эмоционального состояния нашего времени. После войн XX века, потрясений и диктатур мы очнулись измученными, закомплексованными, подавленными. Свойство внуков музилевского «Человека без свойств» — это страдание, приобретенное или внушенное, но всегда пронзительное. Герои документальных лент Яцека Благута подвержены депрессии и зависимостям, живут на краю. Но у них есть шанс на исцеление, на раскаяние. Именно этот момент показывает режиссер. Путь Яцека Благута — один из очень редких в польском кино примеров, когда «жизнь в искусстве» основывается на последовательном возвышении красоты жизни — вне искусства.

Мария Змарз-Кочанович как кинематографист никогда не считалась лидером — ни своего поколения, ни в профессии. Ее документальные фильмы, обычно доброжелательно принимаемые публикой и критикой, находили, однако, свое место преимущественно на телевидении или на внеконкурсных фестивальных показах и обычно редко бывали признаны событиями. Но все же работы Кочанович, если просмотреть их последовательно, в хронологическом порядке, создают удивительно стилистически проясненную, единственную в своем роде хронику польской действительности последних трех десятилетий. Их еще предстоит открыть.

Кочанович в польской документалистике — пожалуй, самый безупречный психолог. К ее фильмам не без оснований может быть применено когда-то уничижительное словечко — некиногеничность. Однако вовсе не нехваткой профессиональных умений объясняется, что фильмы Змарз-

Кочанович иногда лучше слушать, чем смотреть. Достаточно увидеть несколько спектаклей Телевизионного театра в постановке Кочанович, рафинированных по форме, чтобы понять, что в ее творчестве главное — попытка понять героя, представить его лицо очищенным от шелухи «креационизма».

Типичный герой Кочанович, как, например, в «Гданьском вокзале» (2007), имеет имя и фамилию, свои достоинства и определенные взгляды, но часто это образ в какой-то мере собирательный, воплощающий общие, например для поколения, запросы, интересы или ожидания. Такого типа героев мы встречаем в посвященном молодежи известном фильме Змарз-Кочанович 1990 года «Не верю политикам», но также и в «Детях революции». В этом фильме режиссер задавала вопрос: пожирала ли центральноевропейская революция 1989 года своих детей? А ответы оппозиционеров из Варшавы, Праги, Будапешта, Берлина сопровождались призывными песнями Качмарского, Гутки, Бермана. Такими же были «Поколение-89» и недооцененная «Газета.pl», а на противоположном (эстетически) полюсе — сделанные в соавторстве с Михалом Арабудзким социологизирующие фильмы: о феномене дискополо «Бара Бара» или зафиксировавшую истоки техно в Польше «Любовь к виниловой пластинке».

Яркая личность польского документального кино — безусловно, Эва Боренцкая. Этот режиссер, снимая «униженных и оскорбленных», показывает своих героев всегда без ретуши, резко, иногда жестоко и отталкивающе. Результаты такого подхода, по правде сказать, разные (слабостью многих работ Боренцкой была неискренность исповеди героев, скованность перед камерой), однако этому режиссеру никак нельзя отказать в темпераменте и в собственном, выразительном стиле. Именно поэтому так хорошо запомнились ее яркий фильм «Женщины, кошки, дети», рассказывающий о женщинах-заключенных, которые в колонии в Кживанеце за решеткой растят своих детей, и на шумевшая лента «Тринадцать» — история одинокой матери из Бещад, которая, несмотря на крайнюю бедность, не хочет отдавать в приют ни одного из своих тринадцати ребятишек, и фильм «Аризона», в котором Боренцкая рассказала о беспросветной жизни работников бывшего госхоза в деревне Загурки Слупского воеводства. В «Вот этих» режиссер показала без прикрас жизнь бездомных — вокзалы, канализационные коллекторы, душевые чердаки, а в «Дамско-мужских делах» смело и бескомпромиссно говорила о любви пожилых людей,

так искренне показав неизбежность чувства, стремление к нему.

Режиссер Мартин Кошалка из года в год, от фильма к фильму доказывает, что его кино — это сегодня наиболее интересное и эмоционально богатое явление в польской документалистике. Кошалка в своих главных работах «Какого красивого сына я родила», «Как-нибудь получится», «Существование» или в недавно получившей премию на фестивале в Лейпциге ленте «До боли» укрощает демонов своего сознания. Этот разносторонне талантливый кинематографист (он также оператор многих художественных фильмов) в документалистике поднимается до психологической драмы. Он побуждает героев к самой глубокой исповеди, обращает объектив к собственной матери, отцу, фетишизирует смерть, умирание, запечатлевает старение тела, однако во всех этих — в известной мере эстетских — жестах Кошалка умеет сохранить художественный и психологический баланс. Этот, пожалуй, самый смелый сегодня в польской документалистике режиссер использует раскованность повествования, чтобы предельно четко обозначить самые болезненные вопросы: о будущем человеческих и семейных отношений, об отчуждении в обществе, о возможности преодолеть табу смерти.

Документалистика — это фиксация, регистрация стихии жизни. Фигуры, лица, маски. Документалист-художник умеет заменить регистрацию сублимацией. Герой тогда становится одним из нас. В лучших работах «польской школы документалистики» не видно камеры. Объективом становится зоркий глаз зрителя, направленный чутким взглядом режиссера. Художника.

Лукаш Мацеевский — киновед и кинокритик, живет в Кракове

ВЫПИСКИ ИЗ КУЛЬТУРНОЙ ПЕРИОДИКИ

Завершение года стало временем подведения итогов в связи с двадцатилетием обретения Польшей независимости. Это касается и литературы. Быдгощский «Квартальник артистичный» опубликовал в последнем номере (2009, №3) ответы литераторов на вопросы своей анкеты. Среди них заслуживает внимания эссе поэтессы Эвы Сонненберг под названием «Закончить не значит начать сначала». Автор пишет:

«Трудно пользоваться условными определениями „от... до”, поскольку это лишь какой-то случайный отрезок некоего неведомого целого. Никто точно не знает, что в самом деле окончилось, а что началось. Тень прошлого все еще давит и деформирует, вызывает рефлекс бунта, но и тормозит, и в этом сумраке — попытки конфронтации с новым, независимым, эвристическим, иным. „С 1989 по 2009” — это просто арифметика, упрощение, увядание в статистике дат и событий в ситуации, когда миру едва несколько минут... В связи с двадцатилетием появляется искушение подводить итоги, сравнивать, создавать иерархии. Круглая цифра дает возможность дистанцироваться, а посредством этого приблизиться к реальному — к картине польской литературе в так называемой свободной Польше. Думаю все же, что однозначное определение такой картины невозможно. Это двадцатилетие хаоса, распыления, но качества ли? (...)

Критика блуждала в апориях аксиологических недосказанностей, поспешных классификаций или преждевременных оценок. Никакой полемики на соответствующем интеллектуальном уровне, никаких интеллектуальных дискуссий, никаких конструктивных аргументов „за” или „против”. Только лишь создание удобных этикеток, сиюминутных икон, искусственных иерархий вместо добросовестной оценки. Не хватало целостного видения, синтеза прошлого с настоящим, что привело к эфемерным подразделениям на поколения — родившихся в 60-е, 70-е, 80-е и т.д. Возникает синдром „молодого автора” — своего рода льготный тариф, снизивший общий поэтический уровень. Критика стала лишь бледной тенью массовых средств

формирования общественного мнения. А эти средства ищут главным образом скандала, провокации — и словно не существуют какие-то там ценности... Глобализация, демагогия, усреднение задают темп и тональность изменениям, которые снижают не только человека в его человеческом измерении, но и искусство в его художественных аспектах. (...)

Возникает словно новый вид поэта и новый подход к творчеству: важен дешевый эффект, чтобы не сказать шутовство, интеллектуальные игры и беззаботная болтовня — вот что значит быть поэтом в нынешнее время. И всё это в самом скверном варианте. Пропадает индивидуальность, оригинальность, личность — в пользу таких эстетических позиций, или же взаимно калькируются стихи, метафоры, мысли. Двадцатилетие — это победа среднего над крупным, случайного над целенаправленным, подделки над добросовестностью».

Можно сказать, что Сонненберг выдвигает обвинения самого крупного калибра. Но читаю дальше, потому что мне интересно, как видит эту нашу литературную жизнь автор, моложе меня двадцатью годами, чье творчество отмечено престижной премией Тракля (1995) и уже много лет привлекает внимание критики:

«Симуляция чувств, страстей, эмоций, иронии. Симуляция поэта, симуляция писания стихов, симуляция поэзии. В этой симуляции мы как элиотовские „полые люди” — без сердцевины, без нутра, без души. Души? Что за немодное слово. Душа? Искажение, деформация, выверт, деструкция — вот что cool! Предчувствуй это Гомбрович — несомненно, иначе распорядился бы своим талантом. (...) Путь творчества как поочередные этапы посвящения. Этот особый вид посвящения был у больших поэтов — Милоша, Херберта, Шимборской, Козиол, Загаевского».

Но с тех пор все изменилось:

«Я вижу, что поэзия стала разрекламированным товаром, всё чаще оперируют дешевыми приемами, фантазмами поп-культуры. Или эпатируют провокационным утверждением: „Мне нечего сказать”. Поэзия стала fast-продуктом, который лежит среди тысяч других продуктов искусства. Поэзия теряет ценность, всё чаще разменивается в гривенники на распродажах и ярмарках. Одноразовые стихи — как словесные салфетки: без претензий высказаться о важном, служат только для глушения цивилизационных шумов. (...)

Меня раздражает эта легкость, с которой можно выдать себя за поэта, искусственное и дутое причисление к поэтам, это формирование массовых психозов — эта мода, которая проворно формируется под ловкими манипуляциями коллективным сознанием. Обращение к простому и отвержение контакта с неповторимым духовным „я”. Навязывание лжи о том, что низкопробность обладает эстетическими достоинствами. Поэтому стих, интерпретация, пересказ, восприятие должны стать легким и приятным хэппенингом иллюзорных значений. Надо заранее подстраховаться — не открывать, а прикрывать, а поэтому искусство, поэзия начинает метаться, блуждать, теряться, забывая самое себя. (...) Поэзия в нынешнее время лишена силы воздействия. А куда делось послание поэзии?»

Этот своеобразный поэтический манифест — одновременно и очередная похвала наследию «старых мастеров». Несколько иной взгляд на литературу последнего периода представлен в том же номере «Квартальника артистичного» в эссе «Главные книги двадцатилетия» Анны Насиловской, прозаика и литературоведа, которая прямо заявляет, что писатели, выполняющие такое подведение итогов, занимаются своего рода самобичеванием. Насиловская пишет:

«Писатель должен думать, что самое важное — то, что сделано им самим. Но добродетель скромности, глубоко внедренная католическим воспитанием и общепринятыми нормами, велит замалчивать тот неловкий факт, что о других говоришь с болью, переживая внутренние пытки, когда из себя болезненно рвется твое „я”, которое нужно затаить. И Гловинский не напишет о „Черных сезонах”, что это крупное, новаторское произведение, с огромной смелостью извлеченное из себя, как не напишет Гринберг о поисках истины смерти, не напишет Либера о „Мадам” — и не заикнутся, словно забыли, что написали. Притворство. Молча страдают и добродетельно верят, что поступают правильно, хотя фальшь все равно проступает. (...)

Мне придется быть смелее и искреннее (...). Конечно же, мои книги были для меня очень важными, самыми важными! И „Домино”, и „Книга начала”, и „Четырехлетний философ”, и „Любовные истории”... Названы только некоторые (из скромности, конечно). И я абсолютно уверена в одном: ни одна из этих книг не была бы написана, если бы не перелом 1989 года. Это было бы совершенно невозможно, хотя я в своей прозе занимаюсь не политикой, а лишь экзистенциальными проблемами. (...) В 80-е годы я бы скорее съела бумагу и запила

чернилами, чем добыла из себя нечто подобное. Такими зажатými, завязшими в политике все мы были. Так давил на нас груз долга — страшный, хуже колик или зубной боли. Умственная несвобода, на которую мы сами себя обрекли, чтобы только как можно скорее вырваться в мир свободы. Своего рода массовая истерия, нами самими вызванная. Стоило ли тогда вообще писать книги, к которым цензура могла предъявить разве что бытовые претензии? (...) А можно ли вообще было быть собой? С огромным трудом. По литературе тех лет видно, как она мечется в самоограничении, как художник издевается над собственным „я“! Неужто те, кто по собственной воле полз на четвереньках, были в состоянии сплясать?»

А оказалось, что заплясали, и потому, между прочим, что ползли напоказ, а когда можно стало подняться на ноги, сумели это сделать. Конечно, каждый в меру таланта. Мы наработали хорошую, переводимую на иностранные языки, многоголосую и художественно разнообразную литературу, созданную как теми, кто познал мир до перелома, так и теми, кто достиг интеллектуальной зрелости уже после 1989 года. Одному из наиболее интересных направлений посвящен очерк Мацея Урбановского «Политическая фантастика» на страницах щецинского двухмесячника «Погранича» (2009, №5). Автор пишет:

«После 1989 года польская литература „отказывается сотрудничать“. Она хочет стать литературой частных обязательств. Это, в общем-то, понятная реакция на гипертрофию политической активности писателей в период военного положения, что вполне закономерно вписывалось в модель всё более предсказуемой политической оппозиционности, состоявшей в моральном разоблачении тоталитаризма (прежде всего коммунизма) как системы, которая уничтожает личность и социальные и в особенности национальные связи. Говоря с определенным упрощением, после 1989 г. польская литература перестает быть оппозиционной и становится аполитичной, что означает отход от „общественного долга“ и уж точно от вопросов, связанных с политикой как институтом, — если политика появляется, то обычно как стихия, враждебная индивидууму, в определенном смысле бесчеловечная. На этом фоне интересным и заслуживающим рассмотрения феноменом, особенно привлекавшим внимание в 1990-е, была широко понимаемая фантастика, политическая ангажированность которой, по мнению многих критиков, обеспечила исключительность этой тенденции в литературе Третьей Речи Посполитой, а

одновременно фантастика доказывала, что, вопреки многим мнениям, литература того периода не отказалась от замыслов описать новую Польшу. Марек Орамус, а также Мацей Паровский заявляли, что польская фантастика, помимо развлекательных функций, выполняет также после 1989 г. и важную политическую функцию. Какую?»

Отвечая на этот вопрос и указывая на прежнюю роль антиутопии в польской фантастике, Урбановский считает существенным исторический контекст:

«Специфика польского исторического опыта предопределила (...) точку отсчета для политической фантастики — то, что происходило после революции 1917 г. в Советском Союзе. Отсюда проистекал антикоммунизм и отмежевание от социалистических/левых проектов переустройства мира. (...) В любом случае социологическая фантастика 70-х и 80-х была политической, ибо анализировала и таким образом разоблачала тоталитаризм и коммунизм, а маска условности упрощала прохождение сквозь сито цензуры. Если говорить о фантастике после 1989-го, то важным представляется не только то, что писатели не отказались от попыток анализировать в своих произведениях вновь создаваемое государство, но и то, что сразу же заняли критическую позицию по отношению к этим процессам, почему значительная часть представителей этого направления была записана в „правые”. Польская фантастика после 1989 г. потому политическая, что она пытается, при условности жанра, поставить (критический) диагноз состоянию институтов польского государства и польского общества, и тем более политическая, что рассмотрение Третьей Речи Посполитой предпринимается с позиций, которые критики обозначают названием „правые” или „консервативные”».

Завершая свое эссе, Урбановский пишет:

«Как важная, но находящаяся в постоянной опасности ценность, предстает здесь политическая суверенность польского государства, национальная традиция и свобода личности. „Независимость ценнее демократии”, — отмечает Дунин-Вонсович, следствием чего становится ностальгия по сильной и эффективной власти. Прекрасный пример — „Ксаврас Выжрын” Дукая, где вождь польских партизан ведет с Россией одинокую и беспощадную борьбу за независимость. С другой стороны, характерной чертой польской фантастики после 1989 г. стало создание специфического героя — одинокого романтика, сражающегося (часто неэффективно) с современным миром с помощью наиболее современных

инструментов. Польская фантастика после 1989-го по-прежнему не доверяет революции (...) ей чужда ностальгия по коммунизму. (...)

Трудно, однако, ясно определить, сколько в ведущемся нашими фантастами диспуте о Третьей Речи Посполитой унаследовано от жанровой условности уже упомянутого недоверия к современности, модернизации и „левизне”, ведущего к катастрофической (сверх)чувствительности. В какой мере сам жанр подталкивал фантастов в направлении такой, а не иной диагностики, а насколько определенные диагнозы, поставленные государству, было возможно высказать только в фантастике, так как они не формулировались, например, языком реализма, так близкого литературным правым до 1939 г., да и позже, что вспоминается столь важный для польских правых Юзеф Мацкевич. „Традиционные” правые обычно апеллируют к связи с действительностью, провозглашают лозунги политического реализма, критичны по отношению к политическому романтизму, их недоверие будят спекуляции, относящиеся к воображению, интуиции, и даже политический утопизм, в том числе в литературе. Но и правые часто выказывали интерес к популярной прозе — в частности, как к потенциально удобному инструменту осуществления политики. Пример — политические романы и триллеры Дмовского или Гертиха. В этом смысле обращение правых к жанру фантастики было бы мотивировано их литературной политикой, а именно популярностью жанра и связанной с этим возможностью обращения к широкому „несалонному” потребителю. Важным может быть и то, что в 1989 г. жанр фантастики уже обязан был проявиться как „консервативный”, на что часто обращают внимание такие критики, как Паровский, противопоставляя, например, фантастов и представителей „художественной революции” в прозе».

Таковы, в принципе, важнейшие направления ведущейся сейчас дискуссии о литературной жизни в свободной Польше. Но, пользуясь случаем, еще об одном. У меня в руках октябрьский номер петербургской «Звезды», полностью посвященный польской культуре. Я только собираюсь читать, но хочу сразу же поблагодарить как редакторов журнала, так и переводчиков за этот прекрасный подарок.

ЛЕГКИЙ ЗУД СОВЕСТИ

— Когда вы покидали Варшаву, у вас было с собой пальто, 50 грошей, батарейка и фотография светловолосой Гины, в которую вы были влюблены.

— 12 мая 1939 г., когда отмечалась четвертая годовщина кончины маршала Пилсудского, я попросил уличного фотографа сделать для меня снимок Гины, хотя я почти не был с нею знаком. Когда во время бегства из Варшавы меня задержал немец и стал проверять, не «Jude» ли я, то увидел фотографию, а я сказал, что это моя девушка. Это оказалось решающим: Гина «правильно выглядела». Любовь окупилась.

Я долго ничего не знал о ее судьбе. В 1980 е одна дама из Канады написала мне, что Гина была в гетто. У ее отца, владельца типографии, дела шли хорошо, и, наверное, именно поэтому они не сбежали. Если бы обстоятельства у них складывались похуже, то, может, он бы ее оттуда вытолкнул. Кажется, она попала в отвоцкое гетто, а там происходили самые страшные вещи — об этом писал Цалель Переходник^[1] в посмертно опубликованном дневнике. Когда Тадеуш Конвицкий прочитал его записки, он позвонил мне и сказал: «Я думал насчет тебя: до чего же хорошо, что тебе удалось вообще с этим не соприкоснуться».

Действительно, когда я бежал из Варшавы, у меня с собой было только 50 грошей и батарейка — это тоже одно из тех чудес, которые меня спасли. Если бы у меня было два злотых, то меня взяли бы переночевать в ту избу, откуда советский патруль всех загреб и завернул от границы назад — а уж что было бы дальше, понятия не имею. Но двух злотых у меня не было. Я набрался храбрости и постучал в другую избу, показал батарейку и 50 грошей, и эти хозяева меня приняли, а утром говорят: «Вам крупно повезло, потому как тех забрали». Поэтому кое-кто из знакомых повторяет: «И ты неверующий?» Но те, кто выжил, выжили чудом. Без чуда люди погибали. Поэтому меня так пронял «Пианист» — сцены с Umschlagplatz'ем [сборным пунктом для отправки в лагеря уничтожения], вагоны, запираемые на Гданьском вокзале... Я ведь вполне мог там быть.

— Чувство вины?

— Легкий зуд совести, но это не мешает праву на жизнь, на радость, любовь. В Аллеях Уяздовских я видел молодых, чудесно смеющихся девушек. Мне хотелось подойти к ним, спросить об этой их радости, но они бы меня, пожалуй, приняли за сластолюбивого старца. Если бы я был на 50, на 30 лет моложе, то подошел бы к ним. Однако я их и так «аннексировал» — картиной их веселья кончается «Игрок в настольный теннис». Потому что существует груз прошлого, существует право на боль, но существует и право на жизнь.

— Что произошло с вашими родителями, которые остались в Варшаве?

— Маму схватили и увезли на Umschlagplatz, хотя и не должны были, потому что папа работал и у мамы была бумага, подтверждавшая это. Ее могли схватить еврейские полицейские: они были обязаны ежедневно доставлять конкретное число голов, а если нет, то сами шли в газовую камеру или их матерей убивали. Сатанинский шантаж. Во время селекции мама сделала два шага к тем, кого предназначили жить, и так она спаслась.

Как только в гетто разразилось восстание, немцы сразу заняли Новоліпье, а жителей увезли в Майданек. Там родителям удалось пройти селекцию, так как они неплохо питались. Попали они на фабрику боеприпасов в Скаржиско-Каменной. Мама начиняла снаряды толлом. После войны она рассказывала, что часто думала: «А не делаю ли я снаряды против моих сыновей?» — потому что и я, и Хипек были на советской стороне и мама надеялась, что мы живы.

В начале 1945 г. женский лагерь эвакуировали в Лейпциг, где уже не убивали. Что случилось с отцом, не было известно. Мы долго надеялись, что он выжил и вернется. Недавно выяснилось, что немцы вывезли мужской лагерь в Бухенвальд и там на рубеже марта-апреля их всех уничтожили. Что за идиотская преступность — Гитлер уже не шел в расчет, война была проиграна, а они по-прежнему убивали.

— А Стелла, Мирка, Хипек?

— Хипека НКВД вывезло из Львова в лагерь около Рыбинска. Его обвинили в нелегальном переходе советско-германской границы. После нападения Германии на СССР лагерь ликвидировали, а людей освободили — потому-то всякий след Хипека пропал. Мирка погибла году в 1942-м: она не хотела бежать из Домбровицы на Волыни, где мы находились. Я стучал к ним в окно, когда эвакуировался оттуда. Драматическое

описание всего этого есть в «Прекраснейших годах». Она говорила, что с нею и с мужем ничего не случится, так как у них хорошие отношения с украинцами. Вот еще один парадокс: были бы отношения плохими, они бы уехали. Стелла выжила. Ее спасла ссылка в Сибирь. Вывезли ее туда вместе с возлюбленным, который сам пришел к этапному эшелону. Сказал, что жить без нее не может, на что комендант ответил: «*Пажауста*»^[2]. В вагоне они сыграли свадьбу. Дела у них складывались не самым худшим образом: у Стеллы были шубы, которые она постепенно распродала, а Мирка, пока была жива, посылала ей макароны и даже конфеты.

— А вы ходили тогда возле Мирки голодным и жаждали съесть яйцо.

— Да. Не знаю, зачем я это написал.

— Вы держались за Мирку. Жили с нею в Бужске под Львовом, а потом в Домбровице, где учились в советском украинском педучилище.

— Благодаря этому я мог получить прописку, а без прописки мне грозила высылка — как беженцу, то есть родившемуся за пределами СССР. Однако, прежде чем пойти в это училище, я работал на строительстве дороги Львов— Киев. Однажды меня поймали с планами перестройки Бужска и с рукописью романа «Сопrotивление», который я начал писать еще в Варшаве, и арестовали как шпиона.

Поляк, так называемый уполномоченный, который читал мою рукопись, сказал советскому майору: «Он талантливый», — и теперь я говорю, что господа постмодернисты могут отказывать мне в таланте, но за мной талант признало НКВД. У меня было также при себе стихотворение о Пилсудском, про которое тот поляк сказал: «Это хуйня», — и порвал, что спасло меня у русского. Когда началась советско-германская война, я вместе с товарищами сбежал из Домбровицы на эвакуационном поезде для советских граждан — нас спрятали под пальтами советские девушки.

— Ровно в день рожденья, когда вам исполнилось 18 лет, вы попали в Красную армию. А почему не в польскую?

— В день рожденья всегда что-нибудь случается. Мы с приятелем хотели попасть в армию Андерса. Мы знали, что она где-то возле Саратова. Но на станции Морозовской нас арестовал патруль. Мы говорим, что хотим в польскую армию, а они: «Направление у вас есть? Нету? Тогда пошли с нами,

получите», — так нас и загребли. Два дня отсидки. Наконец майор говорит: «Я ничего не знаю ни про какую польскую армию. Враг у нас один. Хотите воевать — воюйте у нас».

Тут в нас вскипело чувство чести, и мы пошли в Красную армию, а иначе остались бы сидеть. Дали нам по буханке хлеба и бумажку «134 запасной полк», и пять дней мы шли через метели на морозе ниже восьми градусов — я это знал, потому что снег скрипел под ногами, а казаки меня учили: если скрипит, то не меньше восьми. Бывали такие моменты, что я думал: всё, уже конец. Думал о матери, которая наверно ждет меня. Я читал у Сенкевича, у Джека Лондона, что такое снежная смерть, — вообще-то этого Сенкевича сейчас недооценивают, ему не повезло, что его Гертих силком проталкивал.

— В Красной армии вы утаили свое происхождение — вы пишете, что это была такая мелкая «изменушка».

— Я считался с возможностью того, что попаду в плен и там скажут: «А вот этот — „Jude“». Солдаты-евреи кое-что подозревали — говорили обо мне на идише, хорошо говорили, и ждали, откликнусь ли, а я молчал. После нескольких недель обучения нас послали на фронт. Маршируя в морозную ночь на линию фронта, я думал: вот прожил я эти 18 лет, малость почитал, а через несколько дней буду здесь лежать в снегу с пулей. Это было 28 января 1942-го. Помню дату, потому что в полдень пришел приказ за подписью Сталина убрать беженцев с фронта. И это меня спасло — на завтра я узнал, что из 130 солдат моего подразделения уцелело 18. Это была бойня.

Меня отправили в рабочий батальон под Сталинград. Оттуда мы с товарищем под чужими фамилиями рванули в Саратов, в армию Андерса, которая уходила в Узбекистан. Добрался я туда босым, голодным, без документов. Меня не приняли. Я был подавлен. Поляки говорили мне: «Иди-ка ты к русским», — а русские: «Иди к полякам». Помню, как я шел в санчасть, у меня перед глазами плыли пятна, я думал, что это тиф, а сестра говорит: «Это из голода». Спасая жизнь — снова в рабочий батальон. И снова через некоторое время сбежал к Андерсу. Из-под Ташкента меня направили в Шахрисабз на последнюю комиссию, перед самой эвакуацией в Иран. Майор глянул мне, голому, между ног и сказал: «Категория Д».

Перед отъездом андерсовцы должны были раздать нам, отвергнутым, свое сверхкомплектное обмундирование — полностью, с сапогами, носками, шинелями и одеялами. Пришел капрал. Мы стояли в шеренге, рядом со мною — босой парень, про которого я знал, что хоть денежки у него были, но

он разулся, и я ему говорю: «Если вы получите сапоги, а я нет, я вас убью». Капрал осматривает нас, остановился передо мной, поглядел и говорит: «Ты». Это был самый драматический момент в моей жизни. Без сапог бы мне не выжить, дело шло к зиме. Я описал это в романе «Никто не зовет», но увеличил там себе размер сапог с 41-го на 42-й, чтобы герой был побольше, повыше. Я сразу переделся, старое тряпье отнес к реке — конец этому — и смотрел, как оно плыло. В армию я не попал, но у меня есть красивые снимки в этом мундире.

Потом я добрался до Самарканда, где снова пошел в педучилище, потому что оно давало общежитие, а у меня не было где спать. Там я познакомился с девушкой, которая и сейчас моя жена.

— Училище вы бросили за три месяца до выпускных экзаменов.

— Потому что было голодно. Я пошел работать на вино-водочный завод. Меня направили катать бочки. Наш цех выполнял план на 400%, и мы завоевали «красное знамя» Узбекистана. Но какая ж это была бригада — один глухой, другой одноглазый плюс женщины и я, лучший рабочий Узбекистана. Каждый получал бутылку спирта. К тому же я каждое утро пил из бочки коньяк через трубочку. Мне приходилось заходить босиком в чан с виноградом, а температура была около нуля, и, чтобы не замерзнуть, я маленько выпивал — в течение полугода. Если б у меня была склонность к пьянству, то стал бы алкоголиком, но ее не было. Единственная моя дурная склонность — необходимость читать.

На заводе у меня случился конфликт с начальницей, которая положила на меня глаз. Однажды вошла в погреб, а я свистел. Она и спрашивает: «А вы знаете, что свистите?» Я говорю: песню Индийского гостя из оперы Римского-Корсакова, — я это знал еще из дома, из польского радио. Она пригласила меня к себе домой на жареных цыплят, да только я уже был влюблен в Рену. Когда я один раз не пришел на работу, снова начиналась малярия, она явилась в мою хибарку, а тут мы с Реной обнимаемся, она и выскочила, словно ошпаренная. И подала на меня в суд. Так я увидел, что такое советская судебная система. Никакого защитника. Несмотря на справку о болезни меня приговорили на полгода к удержанию 20% зарплаты, а на второй раз будет тюрьма. Ни за что.

— И снова надо было бежать?

— На заводе меня послали таскать молочную кислоту, которая напрочь разъедала сапоги. Дважды я ходил в военкомат, чтоб меня взяли в армию, но завод меня не отпускал: я им вроде бы очень нужен. Другое дело, что в эту 2-ю армию Войска Польского уже неохотно брали таких, как я: там и так было слишком много евреев из ссылки. Свыше 400 тысяч еврейских беженцев Сталин послал на восток рубить лес, чем невольно спас им жизнь. Но я решил: пойду еще раз и накричу.

Это был май 1944 года. Фронт приближался к Польше. Я знал, что если и теперь не выйдет, то я уже в этой Азии останусь и сдохну. Иду в военкомат и кричу, что я фронтовик и хочу в армию. Зашедший туда майор спрашивает, в какой армии я служил, — я отвечаю, а майор, что он в той же самой, — и сразу же: «Устройте моего земляка». И меня приняли. Из той же самой армии — стало быть, земляк.

— А девушка?

— Последние три ночи мы провели вместе. Потом она проводила меня на вокзал, но поцеловать постеснялась.

Ехал я с малярией — на подножке вагона, на крыше, а немного лежал, меня приютила в своем служебном купе молоденькая проводница, — и тогда было хорошо, потому что при малярии видишь красивые галлюцинации. До Сум я ехал недели две, распродавая всё, что имел, — лишь бы выжить. На маленьком базаре купил себе еды за ложку — съел всё купленное этой ложкой, вытер ее и отдал.

В польскую армию приехал голодный и босой. На комиссии стою перед советской врачихой в одних носках, и она у меня спрашивает, почему в носках, а я: «Потому что я стеснительный». Она даже не улыбнулась. Сказала только, чтобы вечером пришел к ней в санчасть и тогда она даст мне хинин. Я не явился. Наконец получил обмундирование. А когда я показал окружающим стихотворение «Лодзь верна» — графоманское, но для эстрады подходящее, — то кто-то восхитился, и я вдруг там стал за Тувима.

В Люблине меня послали на экзамены в школу политруков, чтобы я мог получить офицерское звание, так как в возрасте 21 года стал «директором дивизионного театра», но был рядовым. Экзамен я сдал, но со званием ничего не вышло: потерялись мои бумаги. Когда мы шли из Жешува вперед — освобождая Дембицу, Тарнув, Бохню и двигаясь на Краков, — я волей-неволей выполнял работу начальника по пропаганде. На

рыночной площади собирались люди, и все ко мне, чтобы я о чем-нибудь сказал, — ну, я влезал на грузовик и говорил.

В 1945-м в Варшаве я встретил маму и забрал ее с собой в Краков. Когда мы ехали, поезд остановился в поле — появились люди в мундирах, и мы не знали, то ли это лесные, которые ищут евреев, чтобы убить их, то ли Войско Польское, — такова была тогдашняя действительность. А господин президент открывает сегодня памятник Огню^[3], этому бандюге.

Потом репатриировалась Рена — 15 апреля 1946 года. Два года мы жили врозь, друг без друга. Она ехала из Медыки три дня. Когда эшелоны стояли в Плашуве, я в поисках ее поезда проходил под вагонами, и на мне треснули брюки, пошитые из английского одеяла. И вот иду я со сжатыми ногами и вижу Рену в *теплушке*, а она — меня, спрыгнула, и — на ней треснула юбка. Единственная. Домой мы поехали на извозчике.

— Потом поженились?

— Мы с ней так и не женились. Когда она приехала, армейский кадровик говорит: «Что, жена прикатила? Дадим ей удостоверение жены офицера. Она когда родилась?» И вписал: «Жена офицера Ирена Хен, урожденная Лебеваль». Так-то вот Рена стала моей женой.

— А когда вы вернулись в Новоліпье?

— В августе 45-го я отважился войти в развалины. Между ними были тропинки, стояли таблички с названиями улиц. Я начал считать шаги до места, где мог стоять мой дом. И увидел желтые изразцы, которыми была выложена наша подворотня. Я взял один в карман — на память. Но, когда мы переезжали из Кракова в Варшаву, я лежал в больнице, и Рена сама всё укладывала — увидела этот изразец и выкинула.

— Своим дебютом вы отчасти обязаны Ксаверию Прушинскому.

— Я печатал свои воспоминания в «Жолнеже польском» («Польском солдате»), а он как-то зашел к нам и говорит: «Вы должны сделать из этого книгу». Я спросил: «А вы написали бы к ней предисловие?» — он ответил, что охотно. И написал — на святках 1946 года. Потом, когда книга уже вышла, а он, уже будучи послом в Гааге, посетил Варшаву, я ему говорю: «Пан Ксаверий, вы не пообедаете со мною?» — на что он ответил: «Но платите вы». За обедом мы пили шерри-бренди, и он предложил мне выпить на брудершафт. «Пан Ксаверий, —

отвечаю, — но вы же классик, а я дебютант», — а он говорит: «Когда десять лет назад Слонимский предложил мне выпить на брудершафт, я ему сказал: „Но, пан Антоний, куда мне, начинающему репортеру, с такой знаменитостью”, — на что Слонимский ответил: „Когда 15 лет назад Жеромский в ресторане ‘Земьянский’ предложил мне выпить на брудершафт, то...” Так мы доберемся и до Миколая Рея».

У меня слезы льются, но это у меня конъюнктивит — не подумайте, пожалуйста, будто я так растрогался.

— Вы так никогда и не вступили в партию.

— В начале 50-х моя начальница на меня нажимала, потому что я был и.о. главного редактора в «Жолнеже польском». Как-то секретарь парткома армейской печати так мне сказал: «Капитан Хен, вот здесь анкета, а ваша коллега, товарищ Затора, подпишет вам рекомендацию». У меня в глазах потемнело. Сильнее всего, помимо скуки на собраниях, мне было отвратительно, что взрослые люди — взрослые! — встают и что-то там скандируют. Это противоречило моему чувству собственного достоинства. Я такого никогда не делал.

Иду я к ней с этой анкетой и думаю: что-нибудь произойдет, что-нибудь еще обязательно произойдет. Она берет ручку: «Я рада, товарищ Хен, что вы наконец-то дозрели до партии». Тут меня осенило, и я выпалил: «Это партия наконец-то дозрела до меня». А она как отшвырнет свою ручку: «Не подпишу!» Вышел я от нее счастливым.

— Вы попали в санаторий для лиц с нервным истощением.

— Потому что я с ней постоянно ссорился. Я стремился, чтобы в нашем еженедельнике не было дикой пропаганды, а она, например, сняла из номера переведенный мною чудесный рассказ Паустовского о мальчике, который посылает отцу письмо в осажденный Сталинград бутылочной почтой. И при этом сказала: советская молодежь не должна мечтать. Так происходило повсеместно. Я пошел как-то в издательство «Наша ксенгарня» с предложением напечатать «Кайтуса-чародея» Януша Корчака, а дамы-редакторши сказали: нет, там про волшебство, а при социализме дети должны быть реалистами. Я в ПНР знал, каковы границы цензуры. В то же время никогда не было известно, что стукнет в голову редакторше — я прошу прощения за женский род, но это же именно редакторши мыслили, как построить Народную Польшу.

— Как выглядела жизнь писателя в сталинские времена?

— Трудно было защитить себя. Я написал роман «В странном городе», который был полемикой с соцреализмом, но его действие происходило на тракторном заводе. Директор, родом из крестьян, говорит рабочему: «Видишь, кем я был, а теперь директор», — а рабочий отвечает: «Значит, нужна еще одна революция, чтоб и я тоже стал директором». Говорили, что один член политбюро, впоследствии либерал, которого возненавидел Гомулка, выкрикивал: «Хен расписывает, будто в Польше нет рабочего класса!» — но сегодня на эту книгу смотрят как на «производственный роман». Это была ошибка, нельзя давать бой на территории противника.

Я соцреализмом не увлекался, но и не боролся с ним, писал в сторонке — например, «Крест отважных». У меня еще сохранилось такое письмо: «Дорогой коллега, ваш прекрасный, волнующий рассказ не будет у нас опубликован — редколлегия воспротивилась».

— А с партией от вас отстали?

— Знаете, я ходил в талантливых. Хотя в еженедельнике от меня избавились и отправили на радио, на передачу для солдат. 1 сентября я дал в эфир «Трагическую увертюру» Пануфника и запланировал стихотворение «**К оружию!**» Владислава Броневского. Не разрешили. Потому что строки: «Обижала отчизна? И что? (...) Этот час — не для счётов и злоб», — они приняли на свой счет. А также «За кулак, занесенный над Польшей, — / Пулю в лоб!» [пер. Якова Подольного]. Я попросил дать мне четыре месяца творческого отпуска, но на это они сказали, что я могу самое большее уволиться из армии. Я отвечаю: «Браво», — а они пообещали, что мне не дадут выходное пособие — 17 тыс. злотых. Я сказал, что могу доплатить. И ушел из армии — без выходного пособия. С того времени я живу на свои деньги. Кроме меня, только Тадеуш Ружевиц однажды похвалился, что никогда не сидел ни на какой должности. А это не всегда давалось легко.

— На снимке с Хрущевым в журнале «Тайм» за 1956 г. вы выглядите довольным.

— Я был после трех бокалов вина.

Из еженедельника «Свят» («Мир») меня послали в Москву как «советолога» — человека, который в этом разбирается. Я получил аккредитацию и приглашение на прием в Кремле в честь Тито и тогда же нечаянно оказался переводчиком

«Хрущика». Я показал ему Лизу Ларсен, привлекательную блондинку, дочь совладельца журнала «Лайф», и говорю: «Эта дама хотела бы вас сфотографировать», — на что «Хрущик» произнес: «Пажаста». — «Но у нее забрали фотоаппарат», — а он говорит, что в этом помочь не может. Тут я говорю Лизе: «Иди и скажи, что Никита велел отдать аппарат». И отдали! Потом она нас обфотографировала со всех сторон — вот я и стою рядом с ним, улыбаясь, вместо того чтобы с мрачной миной упрекать в том и сем.

Между 1956 и 1963 гг. мне жилось хорошо, вплоть до 68-го я делал киношную карьеру, писал сценарии, сериалы. И видел будущее — свое и Польши.

— Но ведь раньше, после келецкого погрома [1946], вы вместе с женой всерьез задумывались, не уехать ли.

— Да, у меня тогда были две пишущих машинки, а после погрома я одну уже продал. Мы не уехали, так как появились протесты коллег по перу, искренние и прекрасные. Помню, Галчинский написал протест, который начал: «Как бывший антисемит...» — потому что он и был антисемитом, причем хулиганствующим, хотя ему случилось после нападения на Тувима прийти к нему с цветами и упасть на колени. Потому что он знал, что такое поэзия. И Тувим тоже знал — и прощал Костека. В итоге мы с Реной сочли, что надо остаться.

О Едвабне я не слышал. Узнал тогда только, когда собрались ставить памятник. Шок. Потому что келецкий погром я объяснял себе как амок, приступ агрессивного безумия. Но Едвабне, сожжение живьем... Знай я об этом тогда, вы бы сейчас со мной не разговаривали.

Я всегда, с седьмого года жизни, был сторонником какого-нибудь еврейского государства. Меня унижало, что у всех народов свои государства, а евреи как будто сами отказались. Впервые я поехал в Израиль в 1963 г., чтобы повидаться с мамой.

— Когда вы почувствовали 68-й год на собственной шкуре?

— К этому шло уже на протяжении нескольких лет. Я вернулся из Израиля и слышу, что о книге не может быть и речи. Уже тогда это было известно. Помнится, была какая-то велогонка вокруг Египта, и египтяне потребовали, чтобы из Польши не присылали журналистов еврейского происхождения — и наши власти согласились. Позорно.

— **Регистрировалось ли, кто является евреем?**

— Тут вы попали в самую точку. Мне рассказывал один мой товарищ, выдающийся ученый, что на каком-то предприятии к кадровику приходит гэбэшник и спрашивает: «Кто тут у вас еврейского происхождения?» Кадровик отвечает, что они не проверяли, их это ничуть не интересует, а тот вопрошает: «А где ж ваша бдительность, дорогой товарищ?» Это был год 1963-1964-й.

После шестидневной войны и выступления Гомулки о «пятой колонне» стало понятно, что идет чистка. Мое «Сопrotивление» еще успело выйти, а рассказ «Вестерн» я уже передал парижской «Культуре».

Я знал, что они хотят, чтобы я уехал. В газете «Жолнеж вольности» («Солдат свободы») на меня набросились за «Тост»^[4] (т.е. «Закон и кулак»). Писали, что я «выехал за границу и сбросил маску поляка». На партийном собрании Анна Татаркевич задала вопрос, почему пишутся такие статьи, когда она видела Хена на Вейской улице. Кто-то в зале встал — я знаю, кто, — и сказал: «Не уехал, но здесь очернительствует». А потом удивлялся, что я с ним не здороваюсь, — я редко с кем не здоровался, но с ним — нет. В конце концов он догадался и однажды в Союзе писателей обращается ко мне: «Ну, пан коллега, подставьте-ка щечку, ну, это действительно было какое-то сумасшествие». Обцеловывает меня, а я говорю: «Но меня по-прежнему бьют», — на что он в ответ: «Но мне полегчало».

— **Из «Тоста» вам пришлось вырезать «антипольский» анекдот про двух евреев.**

— «Они прячутся в подвале. И ничегошеньки не знают о белом свете. Вдруг слышат кованые сапоги, и кто-то кричит: „Бей жидов!“, — а они падают друг другу в объятья с криком: „Наши!“»

— **Как вы пережили те времена травли и нападок?**

— Не пережил. По сей день.

Однако я чувствую себя другим. Какие-то шаги я уже не в состоянии сделать, не хочу. Это видно в моем «Дневнике на новый век». Я нахожусь в иной ситуации, чем остальные польские писатели, хотя у меня и есть читатели, причем необыкновенные.

Те же самые мужики, те же самые бабы, которые сегодня выкрикивают антиеврейские формулировочки под воздействием известного радио [«Мария»], кричали бы что-нибудь другое, если бы им давали другие образцы. Возможно, они были бы более довольны собою. Но что поделаешь, жизнь трудна, кто-то должен быть виноват в том, что существует старость, бедность, морщины, зловредная невестка, артрит. Конвицкий рассказывал мне такой русский анекдот: «Мужик входит в воду, пробует ее ногой, холодно, он вздрагивает: „Ух, проклятые евреи“».

Мачек, мой сын, лишь недавно рассказал мне, что в школе ребята его били. Он и Мадзя, моя дочь, скрывали это от нас с матерью.

Говорили: перемелется. Когда-то Раковский, главный редактор «Политики», подвозил меня домой, и я его спрашиваю: «Что делать, уезжать?». Он сказал: «Остаться и описать».

— Много горечи в вашем «Дневнике...».

— Не без причины.

— А чего вы не любите?

— В первую очередь — надутологии. В книге «Никто не зовет» я воплотился в самого себя. Герой, голодный, босой, на самом дне, говорит — с этих слов начинается книга: «Я наплюю им всем в лицо!» — «Кому?» — спрашивают у него. «Всем, кто так красиво болтает». Я напомнил об этом в «Дневнике». Не выношу красивых пустых слов.

— Вы написали, что за вами ходит рассказ о человеке, который шьет себе парадный черный костюм на свой большой день, а этот день так и не наступает. И что вы такого рассказа не напишете, потому что он был бы о вас.

— Но парадный черный костюм я себе уже купил — на 60 летие восстания в гетто.

Беседу вела Доната Субботко

-
1. Еврей-полицейский в гетто подваршавского города Отвоцка, который, потеряв там жену и маленькую дочь, бежал в Варшаву, где долго прятался, был свидетелем восстания в гетто в 1943 г., а затем участвовал в Варшавском восстании 1944 г., после поражения которого покончил с собой в

возрасте 27 лет. Его дневник объемом около 110 стр. вышел в 1993 г. на иврите («Скорбная роль свидетельства. Дневник укрытия») и по-польски («Действительно ли я убийца?»), переведен на многие языки и считается одним из самых достоверных источников «низовой» информации о Катастрофе. — Здесь и далее прим. пер.

2. Здесь и далее курсивом — по-русски (или приблизительно по-русски) в тексте.
3. Юзеф Курась по кличке «Огонь» в годы оккупации воевал с немцами, но не в частях Армии Крайовой. В 1945 г. его отряд возобновил борьбу с новой властью и теми, кого он считал ее пособниками. В феврале 1947 г. был окружен и покончил с собой. Считается спорной фигурой.
4. Русский перевод В.Бурича (М.: Орбита, 1989). «Закон и кулак» — название снятого по книге кинофильма (1964).